

ЦИКЛ ПРЕДАТЕЛЬСТВА:  
**ТРОН ИЗ ЛЖИ**



СОДЕРЖИТ  
НЕЦЕНЗУРНУЮ  
БРАНЬ

ЛЕОНИД РОЖНОВ

18+

# Леонид Рожнов

## Цикл Предательства: Трон из Лжи

*<https://litres.ru/73979879>*

*SelfPub; 2026*

### Аннотация

Внутри меня спит дракон. Просыпается, когда вокруг врут. А врут — все.

Полвека назад мой Род уничтожили за то, что мы видели правду. Меня спрятали, подменили в роддоме, и я вырос обычным пацаном из промзоны. Думал, тошнота от чужих слов — нервный желудок. Оказалось — наследие Пендрагонов и дар, который не даёт мне лгать. А в голове поселился древний Мерлин, который не понимает чайников, презирает мои кеды и строит план по возвращению трона. Впереди — Академия, где кланы плетут интриги, каждая третья девушка опаснее любого мага, а нищему вассалу положено молчать и не отвешивать.

Молчать я ещё могу. Но врать — уже нет.

# Содержание

Глава 1. Мёртвый дом и живая ложь	4
Глава 2. Борщ и паяльник	20
Глава 3. Разлом	30
Глава 4. Первый реванш	46
Глава 5. Окно семь	59
Глава 6. Стена	77
Глава 7. Дно	90
Глава 8. Разлом	107
Глава 9. Лавка	123
Конец ознакомительного фрагмента.	130

# Леонид Рожнов

## Цикл Предательства:

### Трон из Лжи

#### Глава 1. Мёртвый дом и живая ложь

Треск. Тот самый — когда мир рвётся, как мокрая газета, и в дыру лезет что-то, чего здесь быть не должно. Разлом. Я слышал этот звук по маго-визору сто раз, между рекламой зубной пасты и прогнозом погоды. Но не в трёх метрах за спиной.

Стало разом холодно и жарко, тело стало невесомым и придавило к земле так, что я еле мог вздохнуть. Скрежет когтей за спиной привёл меня в чувство быстрее, чем должен был. Тварь лезла из Разлома.

Я рванул вперёд, понятия не имея куда. Секунду назад я снимал контент для блога — заброшенная усадьба Артосовых, пыльные залы, герб мёртвого Рода над входом, три подписчика ждут. А теперь бежал по чужому дому, задевая плечами стены, и за мной по коридору скрежетало что-то, от чего желудок пытался вылезти через горло.

Телефон в кармане колотился от уведомлений — система оповещения рекомендовала оставаться в укрытии. Отличный совет, когда ты в укрытии. Ужасный — когда тварь тычет свой сопливый нос тебе в спину.

Обернулся на миг. Тварь вылезла целиком и приходила в себя. Форма менялась на глазах: кости плыли под туманом кожи, лишние лапы отрастали и втягивались в живот. Провал вместо морды и две сияющих искры на месте глаз. Легче не стало. Зато сомнения пропали — бежать надо туда, где есть дверь, любая дверь.

Внутри было сыро, пусто и кисло. Пахло мокрым деревом, плесенью и чем-то горелым. Колонны, лестницы, потолки где-то в космосе. На таком фоне мои кеды с дыркой на левом мизинце выглядели оскорблением архитектуры.

Я рванул к единственной двери в глубине зала. Споткнулся о перевёрнутый стул, влетел ладонью в резную панель на стене, и щепка вошла глубоко.

— Твою мать...

Кровь быстро пошла по пальцам. Я уже собирался вытереть ладонь о джинсы, но панель под рукой дрогнула. По дереву побежали тонкие золотые линии — узор, до этого спрятанный внутри, выходил наружу. Где-то в глубине дома бухнуло, пыль посыпалась с потолка. Стены загудели. Зал начал светлеть: вспыхнули полосы на панелях, потом старые светильники, потом в углах за клубилось мутное серебристое мерцание, дрогнуло и собралось в фигуру.

Высокий старик в длинном плаще, слишком чёткий для дыма и слишком прозрачный для живого человека. Волосы белые, лицо острое, глаза злые и усталые, как у директора школы, которого разбудили среди ночи ради очень тупой причины.

— Наконец, — сказал он.

Я чуть не сел на пол.

— Кто здесь?!

— Мерлин, — ответил призрак с выражением человека, которому приходится объяснять очевидное. — Хранитель Рода Артосовых. Наставник, советник, маг и тот несчастный, что двести семнадцать лет ждал наследника. В былые времена наследники входили в сей дом на коне, в броне и при мече. А ныне ко мне явился дрожащий отрок в тряпье, с мерцающей лучиной и чёрной дощечкой в длани. Поистине, времена прискорбны.

— Слушай, дед, у дверей тварь! — Мне тут было не до вежливости. — Из Разлома, где выход?! Задний, быстрее.

— О времена, о нравы, — вздохнул он так, будто я на светском приёме, а не в руинах собираюсь стать завтраком твари. И замер на полуслове, уже открыв рот, чтобы продолжить нравоучения. — А вот это уже интересно, что за чудная животина?

Тварь зашла в зал, расширив вход минимум вдвое. Она стояла в центре зала — два метра чего-то, что отказывалось быть формой, и в то же время весьма напоминавшее пса. Ре-

альность вокруг неё расходилась трещинами и лопалась от давления.

Мерлин поднял руку, дотронувшись до одной из трещин в воздухе. Тварь дёрнулась, будто физически почувствовала боль, и издала что-то, что в её мире должно было быть рычанием. Меня согнуло от тошноты — голова поплыла, и я блеванул. Тварь излучала неправильность так густо, что мои внутренности пытались вывернуться наизнанку. Всё моё тело кричало: этого не должно существовать.

Мерлин сжал кулак, и от него в сторону твари полетел серебряный клинок. Он разбился об её тело, не причинив никакого вреда, но тут же собрался в цепь и стреножил её. Тварь дёрнулась, неспособная пошевелиться, но цепь при этом покрылась трещинами.

Мерлин начал водить в воздухе руками и вслед за движениями проявлялся завораживающий узор. Быстрые привычные движения, но узор собирался медленно, гораздо медленнее, чем тлели цепи вокруг монстра.

На стене между колоннами висел старый меч. Пыльный, потускневший, скорее декоративный, чем боевой — но это всё равно был меч. Я сорвал его с креплений, едва подняв непривычный вес, и бросился вперёд.

— Стой, дурень!

Поздно. Меч отскочил от плоти, даже не звякнув, не оставив ни царапины. Ударился, отлетел обратно и повис как резиновое изделие, не потеряв ни веса, ни металлического от-

блеска. Просто сталь забыла, что она должна быть твёрдой. Но своего я добился — тварь переключилась на меня, давая Мерлину лишние мгновения.

— Ну, — послышался сосредоточенный голос, прикрывающий напряжение сарказмом. — Не те нынче богатыри. У прежних хоть меч стоял, но порыв был славный. А теперь подвинься и внемли.

Лицо у него стало другим. Не ворчливый дед, а тихий, сообразный, смертельно серьёзный человек, занимающийся любимым делом, на котором съел не одну собаку.

Он вздохнул, фигура его пошла всполохами, теряя осязаемость, и активировал чары, начиная говорить. Слова были не на известном мне языке. Едва ли это вообще был язык людей — половина звуков скорее напоминала скрип старого дерева и стон камня. Но мягкий тон не был похож на приказ — он просил.

Дом отозвался. Медленно, со скрипом. Золотые линии на панелях вспыхнули снова, тускло, неровно. Пол загудел. Плитка пола начала сдвигаться, выстраиваясь в узор.

Каменный пол под тварью вздыбился и сомкнулся вокруг неё. Золотые линии проявились на её саркофаге и пошли внутрь.

Тварь закричала — но не сдохла. Рванулась, и каменные плиты треснули. Золотые линии начали тускнеть одна за другой. Мерлин хрипел, и я чувствовал, как ему тяжело — дух падшего рода, далёкий от пика своей силы. Хранитель зна-

ний, который должен учить, а не воевать, и сил у него было на доньшке.

«Не хватит», — выдохнул Мерлин. «Мне не хватит. Дом стар, я слаб, а тварь злее, чем должна быть... послушай. У нас мгновения. Ежели ты не примешь наследие сейчас — мы оба умрём.

— Какое наследие?! О чём ты?!

«Кровь. Твоя кровь. Она на камне, дом тебя узнал. Но ты не принял. Скажи — "я Артосов". Признай кровь. Тогда дом даст всё, что имеет. И я смогу...»

Тварь выдрала одну конечность из каменных тисков. Плита под ней лопнула пополам.

«Сейчас!»

Я не знал, кто такие Артосовы, слухов о них осталось мало. Я не знал, чем мне это грозит. Но то, что иначе мы умрём и шансов больше не осталось — было истинно, и я это чувствовал.

— Я Артосов.

Дом вздохнул. Весь, сразу. Глухой звук прошёл по стенам, по полу, по моим зубам. Панель за спиной, на которую попала моя кровь, вспыхнула, залив зал золотым светом, и в меня хлынуло.

Источник поместья был слаб — жалкие крохи, последний огрызок. Но он отдал всё, что имел, за один удар сердца, и в меня хлынуло.

Зал. Полный людей, крик, двое спорщиков, свидетели ме-

чутся глазами. Старик в тяжёлой мантии поднял ладонь — и зал замолк. «Говори». Свидетель открыл рот, собираясь со-  
врать, побелел, и слова встали у него в горле. Захрипел, за-  
мотал головой — и заговорил правду.

Вспышка. Сухой мужчина в сюртуке. Огненный шар ле-  
тит ему в грудь — бело-оранжевый, размером с грузовик.  
Мужчина сказал: «Ложь». Огонь развалился серой трухой в  
воздухе.

Потом ударило так, что я зажмурился. Пустое поле. Грязь,  
камни, холодный ветер. Человек — невысокий, в простой  
одежде, без короны и без меча. Уставший. Он стоял посреди  
пустыря и начал говорить — негромко, ровно. Я не разобрал  
слов, но земля дрогнула. Из грязи полезли камни, складыва-  
ясь в стены. Стены потянулись вверх, обрастая башнями. Из  
голового поля вырос замок — и он не выглядел новостроем, а  
был стар как скалы вокруг. Мир услышал слово и согласился.

«Артур», — шепнул Мерлин. «Мой король. Он не строил  
Камелот. Он сказал миру, что Камелот существует. И мир не  
посмел возразить».

Видения оборвались. Я стоял в зале, ладонь горела, и в  
груди появилось что-то горячее и тяжёлое, чего раньше не  
было. Как если бы мне под рёбра засунули раскалённый  
уголь. Не больно, но ощутимо — давило, грело, пульсирова-  
ло в такт сердцу.

Тварь вырвалась из каменных тисков. Она стояла в трёх  
метрах от меня, мерцающая, искажённая, и искры глаз смот-

рели прямо мне в грудь.

Мерлина в зале не было видно, я попытался оглянуться по сторонам и не смог пошевелиться. Я был наблюдателем в собственном теле, едва его чувствуя.

— Молчи и не дёргайся, — услышал я голос Мерлина в голове. Голос ударил сухо, быстро, без эмоций. — Либо я сожгу тебе половину дара ныне, либо тварь сожрёт тебя целиком. Выбор, прости, небогат.

В груди вспыхнуло так, что я ослеп на секунду. Не тепло — белый огонь. Источник, который только что родился, Мерлин вывернул наизнанку и рванул вверх, к горлу, к вискам, к самым кончикам пальцев. Я почувствовал боль источника, будто что-то рвётся на части внутри меня.

Мерлин взял мой подбородок, мои лёгкие, мой голос. Выпрямил спину. — Тебя не существует, — сказал он моим ртом. Буднично, объясняя банальный факт пятилетке.

Тварь замерла. Затряслась, провал на месте морды мигнул, и по её телу пошли трещины — не в плоти, а в самом факте её существования. Мир услышал правду и вцепился в неё, спеша воплотить в реальность. Мгновение, и тварь рассыпалась в ничто. Не осталось ни останков, ни пепла — она просто перестала быть.

В зале стало тихо.

Пол был изломан, плиты торчали под углом. Воздух пах озоном и горелым камнем. Я стоял, привалившись к стене, и тяжело дышал, пытаюсь понять, моё ли это ещё тело. В гру-

ди будто выжгли дыру. Там, где секунду назад полыхал раскалённый уголь, теперь осталась пустота — горячая, сухая, страшно уставшая.

«Твоя кровь», — сказал Мерлин. Голос едва слышный, выжатый досуха. «Без неё не вышло бы. Дом узнал хозяина и дал последнее, что имел. Я вложил остаток своих сил, ты — новорождённый дар. Лишь собрав всё, что есть — мы выжили».

— Это что сейчас было?

«Истинное Слово. Дар Рода Артосовых. Мир не терпит лжи — но молчит, покуда никто не укажет. Ныне я указал через тебя, но на это ушло почти всё, что у меня оставалось. В другой раз придётся учиться самому».

— Мы просто... сказали ей "тебя нет"?

«Не "просто". Назвали правду. Тварь из Разлома — это ложь, принявшая форму. Плоть, которой не должно быть. Не привыкай. Повторить сие завтра я не смогу, да и тебе не советую. Мы не разожгли твой дар, сиятельство, а спалили его почти досуха. После такого не ходят — валяются. И спасибо скажи, ежели сей безумный трюк не оставил на источнике шрам».

Он помолчал секунду и всё-таки не удержался:

«Хотя, признаюсь, начало было многообещающее. Мечом в морду твари. Глупо, но с размахом. При Артуре за такое сперва ругали, а потом иногда награждали. Ежели выжидали».

Руки у меня тряслись. Порез на ладони затягивался прямо на глазах — края просто сошлись, без эффектов.

— И что теперь?

«Надобно уходить. Через кухню, перед воротами так и висит искажение, и других тварей чую, скоро и они найдут нас. И предупрежу заранее: мир, в который ты выйдешь сейчас, будет иным. Дар проснулся. Чужая ложь станет физической болью. К этому нельзя привыкнуть быстро — можно только терпеть».

Я вышел через кухню — заднюю дверь заклинило, но одного пинка хватило. Перелез через забор, отодрав карман от ржавого прута, и оглянулся на усадьбу. Тёмная, тихая, но неуловимо отличающаяся от того, какой она была полчаса назад. Только по каменной кладке ещё бежали затухающие золотые прожилки.

А вот Разлом не закрылся. Трещина, из которой вылезла моя тварь, никуда не делась — висела в воздухе перед воротами, мерцая рваными краями. И теперь вокруг было не так пусто. Десяток тварей рыскал по улице, мельче моей, но всё равно — десяток. Они кружили у Разлома, вынюхивая свои жертвы.

Я прижался к стене и собирался тихо уйти дворами, когда по улице к ним вышла шеренга людей. Красиво. Показательно. Гербы Рода Волконских выставлены так, чтобы камеры — если бы они тут были — не пропустили ни одного. Впереди всех шёл сам Кирилл Волконский, глава Рода. Я узнал его

по маго-визору — там он улыбался на фоне графиков благосостояния. Вживую улыбки не было. Было лицо человека, который пришёл на работу.

Он был объят всполохами белого пламени. Взмахнул клинком — и по улице прокатилась волна огня. Пяток тварей превратились в обугленные каркасы. От его ауры отделились огненные птицы и снесли ещё троих. Двух оставшихся он подошёл и разрубил мечом, посылая пылающие серпы вокруг — те снесли пару ближайших зданий заодно с тварями. Шедшие за ним маги поддержки потушили начинающийся пожар, другие рванули внутрь Разлома — закрывать.

Десяток тварей. Полминуты. Даже не ускорился.

Я стоял у стены на трясущихся ногах и пытался перевернуть масштаб. Мерлин сжёг себя почти досуха, чтобы убить одну. Этот человек стёр десяток похода, как дворник сметает листья.

«Грубо», — сказал Мерлин тихо. «Много силы, мало точности. Его бойцы справились бы не хуже, а он швыряет огонь так, что собственных людей задевает. При Артуре таких ставили чистить конюшни. Но силы — да. Силы у него на десятых».

Волконский остановился, осматривая периметр. Взгляд скользнул по руинам, по складам — и остановился на мне. Прямо на мне. Глаза блеснули отблеском остаточного пламени. Он что-то сказал солдату рядом, не отводя взгляда.

Я не стал ждать продолжения. Рванул по знакомым дво-

рам, кратчайшим путём к дому, стараясь не бежать — идти быстро, как человек, которому просто не по себе от Разлома рядом.

«Он тебя видел», — сказал Мерлин.

— Может, не запомнил.

«Может. А может, уже отдал приказ».

Дар фонил всю дорогу домой.

На площади мага-визор показывал новости — ведущий в хорошем костюме рассказывал про рост занятости и заботу о семьях. Желудок скрутило так, что я схватился за фонарный столб.

«Терпи, отрок», — сказал Мерлин. «Дар. К боли от лжи надобно привыкать, это теперче твоя ноша».

— Это будет всегда?

«Покуда живёшь либо покуда не искоренишь ложь в сердцах людских».

Охуенно.

На рынке всё было хуже. «Последняя скидка», «Беру в минус», «Клянусь детьми». Каждая фальшивая нота шла в желудок. Я шёл и думал: хоть бы кто-нибудь сказал правду — хоть одну. Для баланса.

«Торгаши никогда не меняются - при Артуре, — заметил Мерлин, — рыночные торговцы продавали реликвии святых. Один палец Иоанна Крестителя я видел раз двенадцать».

— Утешил.

«Я тебе не нянька чтоб утешать. Я твой наставник чтоб дар освоить да стать достойным мужем».

Когда показался наш дом — облезлый подъезд, вывеска мастерской, запах канифоли — тошнота чуть отпустила. Родной запах, спокойствие и безопасность.

Мама ставила тарелки на стол. Халат, собранные кое-как волосы, усталое лицо после смены. Увидела меня и сразу вычислила главное.

— Опять лазил где не надо? Весь грязный. Руки мой и за стол.

Борщ пах так вкусно, что я даже забыл, что пять минут назад чуть не выплевывал свой желудок.

Потом вошёл отец. Руки тяжёлые, чёрные от мазута. Сел за стол. На борщ толком не посмотрел.

— Всё в порядке на работе, дорогая, — сказал он. — Просто устал. С арендой тоже договорился, всё оставили как было.

В груди рванулось так, что я вцепился пальцами в край стола. Боль ударила резко, намного хуже чем на площади. Жар поднялся от рёбер до горла, железный привкус заполнил рот, перед глазами потемнело. Мой отец — который может неделю ходить в одной куртке и молча экономить на себе, но если сказал «сделаю», то сделает — смотрел маме в лицо и врал.

Я видел это. Не глазами — чем-то другим. Серая дрожащая муть вокруг его слов, липкая, мерзкая. Он врал, чтобы

она не волновалась. Врал, потому что любил. И от этого было только хуже.

Для мамы ничего этого не было, только любимый муж, вернувшийся с работы и собирающийся ужинать.

— Ты бы хоть поел сначала. Саша, дорогой, так что, не хочешь нам с папой рассказать где сегодня искал приключения?

Я сидел и молчал. Хотел сказать «ну что ты, ничего такого» — горло сжалось, не пропустило. Слово просто не выходило наружу. Попробовал ещё раз — то же самое. Дар не давал мне лгать.

«Привыкай, наследник», — сказал Мерлин тихо. «Здесь лгут не токмо ради власти. На лжи держат дом, службу, ужин и покой семьи. И те, кого ты любишь, не будут исключены».

Мама подняла глаза.

— Саня, тебе плохо? Ты весь белый.

— Голова, — сказал я, и это была единственная правда, которую я смог в себе найти, не заставив их волноваться. — Пойду полежу немного, может отпустит.

Я пошёл к себе и упал на кровать. Адреналин спал, и произошедшее догоняло.

— Артосовы. Кто это? Почему от них избавились? Почему я остался?

«Пятьдесят лет назад, приблизительно. Спал, подробностей не знаю. Но если бы это были просто конкуренты — ме-

ня бы успели разбудить. Это был кто-то более могущественный, и планировали тщательно. Большого не знаю, подробности буду узнавать вместе с тобой. А теперь поспи, завтра начнём учиться твоему дару».

Я хотел было спросить ещё, но услышал грубый стук в дверь. Отец открыл, и раздался голос: «Добрый вечер. Извините за поздний час. Я по поводу инцидента в вашем секторе сегодня вечером. Плановая проверка».

Я встал тихо. Вышел в коридор.

У двери стоял штатский. Лет сорок. Хороший пиджак — не дорогой, но правильного покроя. Планшет в руках. Лицо спокойное, глаза внимательные. Из тех людей, которые разговаривают вежливо и при этом ничего не пропускают.

—...просто несколько стандартных вопросов, — говорил он отцу. — Вы находились дома в момент открытия Разлома?

— Да, — сказал отец. — Мы дома были.

— Никто из членов семьи не покидал здание?

Пауза. Едва заметная. Отец чуть повернул голову — увидел меня в коридоре.

— Нет. Все дома.

Дар дёрнулся. Резко, как прихватило. Отец только что солгал. Не просто так — ради меня. И это ощущалось иначе, чем давешняя ложь про аренду. Другой привкус. Горячее.

— Понятно, — сказал штатский. Тон не изменился. Записал что-то в планшет. — Спасибо. Стандартная проверка,

ничего серьёзного, хорошего вечера.

Он убрал планшет, и почти уже повернулся к двери, как его взгляд упал вниз. Там стояли мои кеды. Серые от пыли и штукатурки. Специфичная, не уличная грязь.

Он застыл и нахмурился.

## Глава 2. Борщ и паяльник

Мужчина смотрел на мои кеды, и я перестал дышать. Секунда, другая — он разглядывал серую пыль на подошвах, ту самую цементную пыль, которой не бывает на обычных дорогах.

— Хорошего вечера, — повторил он ровно, развернулся и ушёл, не оглянувшись.

Отец закрыл дверь и постоял, прислонившись к косяку.

— Где ты был?

Горло сжалось — врать не хотелось, но и говорить всю правду было слишком безумно, поэтому я выбрал ту часть, которая не застрянет.

— Смотрел на Разлом.

Горло отпустило, но не до конца — правда, только далеко не вся. Отец потёр переносицу тем самым жестом, который я видел тысячу раз когда слов у него не хватало.

— Иди спать. Утром поговорим.

Я вернулся к себе и лёг в кровать. Хотелось столько всего расспросить у Мерлина — про дар, про наследие, как научиться делать такие же крутые штуки, как были в видениях. Но сил осталось только на одно:

— Спасибо, — сказал я в темноту. — За сегодня.

Мерлин помолчал, и ответил без ворчания, без «сиятельства» — просто:

«Спи».

\* \* \*

Утром я проснулся и первые три секунды думал, что всё приснилось.

Потом Мерлин сказал:

«Очнулся, сиятельство? Вид твой жалок. При Артуре оруженосцы после попойки поднимались резвее».

Не приснилось.

Я натянул одеяло на лицо в дурной надежде, что так можно заглушить голос в черепе, но это не помогло — он чувствовал себя слишком по-хозяйски и только знай бормотал, что прежде рыцари вставали резвее, а утра были покорооче. Вчерашнее не выходило из головы: тёмный зал, тварь из Разлома, золотые линии, и слова, которые прозвучали моим ртом — «тебя не существует» — от которых мир стёр ошибку, как мел с доски.

В груди что то чувствовалось, не мешалось - но слегка грело. Я не знал толком, что это такое, но был почти уверен — оно самое, дар.

— Пять минут тишины можешь дать? — спросил я.

«Не вижу пользы».

Я сел на кровати и оглядел комнату, пытаюсь сообразить, куда с вечера кинул одежду. Узкая кровать, стол в проходах, шкаф с перекошенной дверцей, постеры на стенах — всё моё, всё знакомое, только хозяин изменился. Вчера я был Сашка Серов, блогер из промзоны. Сегодня — последний

Артосов с древним дедом в голове и даром, от которого тошнит.

«Почто ты развесил на стенах чужие морды?» — мрачно спросил Мерлин, изучая мои постеры.

— Для красоты.

Он помолчал с уважительным ужасом.

«Мир пал глубже, чем я предполагал».

Из зеркала на дверце шкафа на меня смотрел бледный парень с красными глазами и взлохмаченными волосами. На правой ладони — тонкая розовая линия: вчера был порез, сегодня — светлый шрам, будто затянулся за одну ночь.

В коридоре пахло жареным беконом и лекарствами. Мама стояла у плиты в халате, волосы стянуты кое-как, под глазами тень, и на сковороде у неё шипело.

— Встал? Садись, остынет.

«Сия женщина изнурена», — заметил Мерлин без насмешки. «Но стоит ровно. Сие вызывает уважение».

Под рёбрами легонько кольнуло — мелкий укол, почти незаметный. Мама не врала, но и всей правды не говорила, прятала усталость за привычной строгостью, и где-то под кожей от этого тихо саднило.

Я сел, отломил хлеба и начал есть, и от горячего отпустило так, что захотелось просто сидеть тут и никуда не идти.

На подоконнике рыжая пыль с труб, в углу бубнил маго-визор. Ведущий в костюме дорожке нашей кухни рассказывал про рост благосостояния.

Меня скрутило — не так резко, как вчера на площади, я уже ждал, но всё равно ощутимо. Железный привкус заполнил рот, желудок сжался. Каждое слово ведущего — «новые рабочие места», «безопасность секторов», «забота о простых семьях» — отдавалось тошнотой, как будто организм физически отторгал враньё.

— Мам, выключи, пожалуйста.

Голос вышел хриплый. Она тут же нажала кнопку, экран погас, и тошнота начала отступать — не сразу, медленно, как горячий металл, который остывает.

— Прости, забыла.

Я вытер рот тыльной стороной ладони и уставился на хлеб. «Сей болтун лжёт так жирно, будто уверен в безнаказанности», — процедил Мерлин.

— Он и есть безнаказанный.

«Покуда».

После завтрака я спустился в мастерскую, где стоял привычный запах припоя, канифоли, горячего металла и упрямства — столько, сколько я себя помнил. Отец возился с медным самоваром, весь в мазуте, с привычными ожогами на пальцах.

— О, проснулся. Иди глянь, какую красоту Михалыч притащил. Клянётся — фамильная вещь, а значит, снял у кого-то с чердака вместе с тараканами.

«Твой родитель тычет достойный сосуд калечным жалом», — с отвращением заметил Мерлин.

Я подошёл и смотрел на отцовские руки, знакомые до каждой царапины. Вчера вечером эти руки лежали на столе, когда он говорил маме «всё нормально с арендой», и меня чуть не вывернуло прямо за ужином.

Сейчас он повернулся и сказал, как бы между делом:

— Ты насчёт аренды не дёргайся. Со Штерном договорился. Ещё год тут спокойно, на тех же условиях.

Желудок скрутило — резко, знакомо, хуже, чем от маго-визора, потому что это был не чужой диктор, а отец. Жар поднялся от рёбер до горла, железо заполнило рот, перед глазами на секунду потемнело. Та же ложь, что вчера, только в утренней упаковке: он врал, чтобы я не волновался, врал, потому что любил, и от этого было только хуже, потому что организм корчился одинаково — неважно, по какой причине врут.

Я стиснул зубы.

— Ясно. В школу пора.

Голос вышел сухой. Отец нахмурился, посмотрел на меня внимательно.

— Иди. Ладонь не ковыряй.

У Серой Башни я увидел Штерна. Нашего арендодателя: сухой, прилизанный, в пальто дороже нашей кухни. Рядом — чиновник из управы в сером мундире. Оба спокойно разговаривали на ступенях.

Я подошел к тумбе с афишами и сделал вид что внимательно рассматриваю, чтобы послушать что будут говорить.

«Слушай», — коротко сказал Мерлин. «По-настоящему». Шум дороги отступил, голоса у ступеней стали чётче.

—...продление аренды более нецелесообразно, — говорил Штерн, покручивая трость. — Волконские закрывают сделку по кварталу. К концу месяца помещения освобождены. Дальше снос.

Внутри что-то холодно провалилось — не тошнота, а ощущение, что пол из-под ног убрали.

— Канцелярия согласовала, — кивнул чиновник. — На месте старой линии — распределительный центр. Подаём как модернизацию. Жильцы пошумят, привыкнут.

— Компенсации?

— Минимальные. По старой оценке.

— Прекрасно. Мелкие арендаторы все равно вякнуть не рискнут.

Тошноты не было — они не ввали. Это была рабочая, хищная правда, та самая, под которую сносят чужой дом и называют это развитием. От неё хотелось блевать не меньше, чем от лжи, только желудок не крутило.

Штерн поднял глаза от собеседника и посмотрел в мою сторону — Я стоял у афишной тумбы, шестнадцатилетний пацан в куртке с чужого плеча, невидимка. Взгляд скользнул по мне и вернулся к чиновнику.

Но я-то видел его. Я знал, что он лжёт. И пока он смотрел мимо, я думал: мастерская отца, месяц, снос — и никто ничего не сделает, потому что маленькие люди не делают ни-

чего, когда большие решают за них. Так устроен наш мир, и я этого уже наелся.

— Мне нужен вход туда — в клановый мир, — сказал я негромко, чтобы только Мерлин услышал.

Он не удивился, ответил без паузы, будто ждал именно этих слов.

«Войти — да, рано или поздно придётся. Но не как Артосов и не сегодня. Произнесёшь сие имя при чужом — тебя выпотрошат раньше, чем уразумеют, кому досталось наследство. Ты должен сделаться видимым на их условиях, а не на их розыске. Сие два разных входа, отрок».

— Какие два?

«Первый — пойти самому в их учреждение, как обычные мещане ходят за бумагой, и предъявить дар как нечто скучное и казённое. Тебя заведут в реестр, поставят клеймо и забудут до поры. Второй — найти дом, который согласится дать тебе имя напрокат, без огласки и взамен на твою пользу. И тот и другой путь дурён: первый ставит тебя под государев глаз с самого первого дня, второй прячет, но недолго и до первого внимательного носа».

— А третий?

«А третьего, сиятельство, у тебя нет. Покамест ты не способен словом и муравья прижать. Тренируйся. Дар обнаружит себя сам, и мир сам решит, к какому окошку тебя приставить, ибо я нынешних их окошек не ведаю».

Над крышами торчал шпиль Якоря Волконских. Раньше

он был частью пейзажа, а теперь выглядел как гвоздь, которым район прибили к полу.

«Сей столп уродлив», — заметил Мерлин.

— Мы его обычно Якорем называем.

«Ложное слово. Якорь держит корабль. Сия дрянь пьёт землю».

Я пошёл дальше. До школы оставалось два квартала, и в голове уже складывалось: дома вечером — попробовать с даром ещё раз, аккуратно, на чём-нибудь маленьком. Сначала научиться, потом выбирать вход. Иначе любая бумага и любое покрытие сгорят за один разговор. Мерлин молчал и, как мне казалось, считал ходы — не словами, а давлением внутри, будто кто-то двигал мебель в моей голове.

На уроке истории тошнота подступала волнами. Борис Палыч писал на доске крупным учительским почерком: «ЯКОРЯ — ОПОРА ИМПЕРИИ», а под ним, поменьше: «Великие Рода и общественный договор». Мел скрипел, буквы выстраивались ровно, и каждая из них давила мне на рёбра тупым жаром, от которого хотелось лечь щекой на парту и не вставать.

— Обратите внимание, — говорил Борис Палыч с интонацией проповедника, — Великие Рода добровольно ограничили свои интересы ради общего блага. Это был акт коллективной ответственности, не имеющий аналогов в истории.

Под ложечкой провернулось. Не остро — тупо, привычно. «Лжёт», — сказал Мерлин без ворчания и без юмора, го-

лосом лектора, который тысячу раз слышал одну и ту же дурь. «И не со зла, заметь — он сам верит. Повторяет за учебником, а учебник писали те, кому выгодно. Оттого и жар ровный — чужая вера в чужую ложь, сие переносится терпимо. Ежели не вслушиваться».

Я вслушивался. Борис Палыч читал абзац за абзацем, и каждая фраза давала привкус жжёной резины на задней стенке горла. Я стискивал парту и считал минуты до звонка.

Рядом Витька нарисовал в тетрадке танк и показал мне. Я кивнул. Танк был кривой, башня смотрела назад. Витька рисовал танки с третьего класса и ни разу не нарисовал хороший.

На перемене он нашёл меня у окна в коридоре. Обычно он подлетал как дрон на полной тяге — сегодня подошёл тихо, с лицом, которое бывает у людей после похорон. Серый, собранный, губы белые.

— Слышь. Кольку привезли.

Мы сели на лестнице у спортзала, где пахло пылью, мокрой тряпкой и сигаретным дымом, который въелся в стены ещё при прежнем директоре.

— Помнишь, мать его подписала на «практику» при Разломе. Мелкий выезд. Подержи оборудование, постой в контуре, получи копейки.

Витька вертел в пальцах огрызок карандаша, ломая грифель.

— Вернулся с ожогами. Всё левое плечо и рука. Волна

прошла по контуру, а защита оказалась не на тех, кто стоит. На тех, кто снимает.

Он достал из кармана бумагу, сложенную вчетверо. Официальный бланк, печать, аккуратная подпись. Компенсация: двести рублей.

Двести рублей. За руку двадцатилетнего парня. Я молча вернул бумагу.

— Мать плачет. Батя молчит. Колька лежит и в потолок смотрит. Не разговаривает.

Витька спрятал бумагу и посмотрел на меня, ожидая чего-то — не утешения, а просто хоть какой-то реакции от живого человека.

— Я не буду говорить, что всё наладится, — сказал я.

Горло пропустило. Потому что это была правда.

Витька кивнул.

— Спасибо, — тихо сказал он и ушёл к кабинету.

Звонок прозвенел, Витька ушёл, а я сидел на лестнице и смотрел на бумагу, которую он забыл мне вернуть — двести рублей, официальный бланк, печать Волконских в правом углу.

Тех самых Волконских, которые сносят нашу мастерскую. Тех самых, чей шпиль торчит над районом. Тех самых, чей лакей Штерн обещал отцу спокойный год и соврал.

После уроков до дома я не дошёл.

## Глава 3. Разлом

До дома оставалось два квартала, когда в груди потянуло. Мягко, не больно, но настойчиво. На перекрёстке висел свежий баннер: бригада Волконских в форме с иголки, ровные зубы, золотая надпись «Ваша безопасность — наш приоритет». Та же контора, что выписала Кольке двести рублей за сожжённую руку. Я постоял секунду перед этой улыбающейся семёркой и сам не заметил, как ноги развернули меня в сторону промзоны.

Мерлин среагировал тоном деда, заставшего внука с гранатой в песочнице.

«Куда сие, сиятельство? У сей дороги один конец, и тебе он не глянется».

— Я не лезу внутрь, — буркнул я. — Просто гляну, как они работают.

«В новостях глянешь. Там, правда, лгут, — но и в обратную сторону лгут тоже, так что недурно для опытного глаза».

Я не остановился. Мерлин помянул моё «безрассудство», прибавил что-то про оруженосцев Артура, которые в шестнадцать «головой думали, а не ногами», и замолк. Спорить с парнем, который уже решил, у него хватало ума не делать.

Промзона начиналась за рядом гаражей. Я шёл быстро, мимо ржавого профлиста, мимо складов с заваренными воротами. Пахло соляжкой и нагретым металлом — родной за-

пах района. У будки сторожа лежала собака без ошейника и провожала меня взглядом без всякого интереса.

Через пять кварталов нормальное закончилось. Запах сменился разом — озон, кислотина, и что-то ещё, от чего зачесалась кожа на предплечьях. Звуки приглушились, как под водой. Дар в груди, который последние два дня тихо нудил фоном, начал жечь — ровно, тупо, без всякой жалости.

Мерлин заговорил иначе, чем обычно. Не зло, не ворчливо. Растерянно.

«Сего не было, сиятельство. Когда я уснул, сего не было. Ни дыр в воздухе, ни тварей, что лезут оттуда, ни этой... изнанки. Мир был цел. Я слушаю его теперь твоим телом — и не узнаю места, в котором стою».

— Ты не знаешь, что это?

«Ведаю одно: чужеродное. Будто ткань мироздания надорвали изнутри, и края не сходятся, сколько ни шей. Отчего рвётся, и кто рвёт — не ведаю. При мне такого не случилось ни разу, даже от дел темнейших из культов».

Голос у него на последних словах сел — глухо, без обычной язвительности. Я не знал, что тысячелетнему духу может быть страшно. От этого незнания внутри стало хуже, чем от любого его крика.

За гаражами уже стояло оцепление: жёлтая лента, два фургона с гербом Волконских, полицейский «уазик» с потухшими мигалками. Народу почти не было. Промзона, не Верхний сектор: сюда не пригоняют ни камер, ни любопыт-

ных.

Трещина в асфальте — метра четыре. Узкая, как порез, затянутая дрожащей мутной плёнкой. Жар бил такой, что края асфальта стекли вниз жирными чёрными каплями. Пахло остывающей сваркой и подвальной плесенью одновременно. От запаха хотелось закрыть рот рукавом.

За лентой топтались работяги. Семеро, без нашивок и без позы, потные, чёрные от копоти, у двоих — свежие ожоги на запястьях. Стояли группками, курили, поглядывали на Разлом так, как обычно смотрят на бригадира, который уже всех достал. Когда клановая бригада уберётся, эти полезут внутрь — латать, выгребать, зачищать. У старшего рука была замотана серым бинтом, сквозь который проступило бурое.

Я выбрал место в тени фургона и попытался дышать спокойно. Рядом с Разломом тошнило по-новому: глубже, тупее, чем раньше. Просто свинцовый ком в кишках, и всё. Не вырвет — и ладно. Я считал вдохи. Раз, два, три. Единственное, что в этом квартале работало без сбоев.

Через минуту во двор завернули две чёрных «волги». Тонировка — глухая ночь. Охрана высыпала первой, два шкафа с гербом, молча встали по обе стороны двери.

А потом вышел он.

В пальто, от которого мне сразу захотелось спрятать собственные кеды под колесо. Руки чистые. Лицо гладкое. Выражение — у человека, которого оторвали от важного дела ради ерунды. Старший офицер из оцепления сорвался ему

навстречу, пристроился сбоку и начал бубнить доклад с лёгким придыханием, как бубнит дворняжка, увидевшая хозяйина после долгого ожидания у миски.

И тут меня согнуло.

Тошнота ударила разом, тяжёлая и густая, ни на что не похожая. Виски стянуло, на лбу выступил пот, под коленями стало слабо. Я не понимал, от чего именно — от человека, от места, от всего сразу. Просто давило сверху, как мешок с мокрой землёй. Я отступил на шаг, ухватился за столб ограждения и постоял, пока перед глазами не перестало плыть.

Мерлин дёрнулся, как от удара.

«Чуешь? — прошипел он, и впервые за два дня в его голосе не было ни одной шутки. — От сего человека тянет чем-то старым, родовым. Так пахнет не личная ложь, отрок. Так пахнет гнилой подвал, в котором её складывали поколениями. Держись подальше, сие не для тебя сегодня».

Я держался — буквально, обеими ладонями за холодный металл столба. Внутри всё плыло, и опереться было больше не на что. Через минуту, когда стало терпимо, я отлепился и переместился за угол фургона так, чтобы видеть ленту, людей и трещину, а сам не маячил у них на виду.

Из-под мутной плёнки уже что-то проклюнулось — мелкое, ростом с собаку, дёрганое. Командир охраны — жилистый мужик со шрамами через скулу — отреагировал раньше, чем тварь высунулась. Поднял руку, развёл два пальца в стороны. Бойцы накрыли фланги двумя короткими шагами,

оттеснили работяг за фургоны и приготовились бить точечно: ровные стойки, опущенные клинки, без позы и без эффектов. Один уже выводил руку на удар.

Волконский-старший шагнул вперёд и выставил ладонь.

Боец замер. Все замерли — рефлекс быстрее любого приказа. Начальство хочет, начальство получает. Из ладони Волконского ударил веер белого пламени, развернулся сложным узором с золотыми завитками и накрыл тварь целиком. Пепел закружился в воздухе. Кто-то из свиты тихо выдохнул «вот это да», и в этом «вот это да» было ровно столько искренности, сколько у человека, собирающегося просить о повышении.

Вторая тварь полезла левее. Командир дёрнулся скомандовать — Волконский поднял руку снова. Ещё один веер, ещё размашистее, с большим количеством золотых искр. Тварь развалилась пеплом, не успев встать на лапы. Третья выползла там, где работяги ещё не отошли. Командир рывкнул «фланг!», двое бойцов кинулись перекрывать — короткая дистанция, удобный угол, чистый рез. И Волконский снова шагнул вперёд. Сияющий щит развернулся полукругом, накрыл и тварь, и работяг. Тварь вспыхнула, работяг отшвырнуло ударной волной — не до увечий, но один грохнулся на колени и громко выматерился, второй подхватил его за локоть и потащил подальше. Бойцы с поднятым оружием замерли — иначе попали бы под его же заклинание.

«Позёр», — тихо сказал Мерлин.

— Он троих убил за минуту, — возразил я скорее по привычке.

«А его команда убила бы троих за тридцать секунд. Без веера, без золотых искр и без того, чтобы своих же раскидывать щитом. Командир справа — дельный, бойцы знают позиции, они работают. А он влезает каждый раз и заставляет их замирать, потому что иначе они попадут под его удар. Много силы, мало точности. Не помогает он, сиятельство, — он красиво мешает».

Человек в пальто прошёл вдоль оцепления, и свита потянулась за ним, как водоросли за течением. Старший офицер семенил рядом с услужливым полупоклоном, докладывал, а Волконский кивал коротко, не оборачиваясь — не одобряя, а просто отмечая, что слышит.

У самой ленты на земле сидел тот работяга с перевязанной рукой. Немолодой, лет сорока пяти, рука висела плетью, бинт потемнел, и от него несло палёным и кислым. Мужик не жаловался, сидел опустив голову и чего-то ждал. Ждать было нечего: «скорой» не было, своих врачей не было, а свои бойцы заняты тварями.

Волконский-старший прошёл мимо него — не обошёл, а именно прошёл, как мимо столба или мусорного бака. И, не оборачиваясь, бросил старшему офицеру ровным деловым голосом:

— Сроки. Квартал должен быть чистым к концу месяца. Согласно с канцелярией, я подпишу.

Тот же квартал, где мастерская отца. Тот же месяц. Те же бумаги, что вчера в Серой Башне обсуждал Штерн. Меня за-тошнило заново, и я не сразу понял, от чего — от дара или от собственной злости, которая стояла прямо в горле.

И тогда Разлом плюнул.

Волна вырвалась из трещины без всякого сигнала — мутная плёнка просто перестала держать. Воздух сделался тяжёлым, плотным, пробил по полю так, что у меня в ушах щёлкнуло. Оцепление затрещало. Лента порвалась в двух местах сразу. Работяги ломанулись кто куда; один грохнулся на четвереньки, мужик с перебинтованной рукой откатился боком и кое-как поднялся.

Парень из охраны, молодой, примерно мой рост, в новенькой форме с волконским гербом, стоял слишком близко к трещине. Волна снесла его, как пустую бутылку. Он влетел спиной в бетонный блок, коротко хрипнул и осел на асфальт. Нога вывернулась под таким углом, что у меня в животе всё подтянулось вверх. Из-под штанины медленно, густо потекло тёмное.

А потом из трещины полезли твари.

Три или четыре, я не считал. Те же мелкие, дёрганые, ростом с собаку, каких Волконский только что жёг. Теперь они пёрли разом, цепляясь когтями за оплавленный край. Командир заорал. Бойцы развернулись, перекрыли фланги, кто-то из охраны оттащил Волконского за «волгу», старший офицер вжался в дверь и зажмурился. Работяги уже укрылись за

фургонами.

Бойцы врубились в тварей жёстко, коротко, без всякой золотой херни. Просто мясо рубили. Работа.

А раненый так и лежал. Совсем один. В трёх метрах от трещины. Никому он не был нужен. Пальцы здоровой руки скребли асфальт. Скребли и скребли.

Я сделал шаг вперёд — и остановился.

Ноги налились свинцом до колен. От трещины тянуло жаром, тошнота поднялась такая, что я, наверное, побелел, и в голове очень отчётливо прозвучало: «там твари, ты без источника, ты без оружия, ты туда не дойдёшь». Разумные слова. Голосом мамы, голосом отца, голосом любого учителя. Я даже отступил на полшага назад — поближе к фургону, к запаху солярки, к нормальному миру, в котором шестнадцатилетний пацан не лезет на остаточную зону голыми руками.

А потом посмотрел на парня и на его руку, скребущую асфальт, и пошёл.

«Ты безумен! — взревел Мерлин, и в этот раз без архаики, без "сиятельства", без снисхождения. — Ни источника, ни защиты! Ежели хоть одна тварь повернёт на тебя — я тебя не вытащу, у меня нет сил. У тебя нет мозгов. Назад!»

Я не вернулся. Перешагнул через лопнувшее оцепление и побежал по оплавленному асфальту, который чавкал под ногами, как остывающая смола. Запах озона ударил так, что в глазах побелело. Рядом с трещиной воздух дрожал, тошнота поднялась до горла, и я едва не сложился пополам на бегу.

Парень оказался тяжёлый. Взрослый мужик, килограммов восемьдесят в форме и снаряге. Поднимать его одному было всё равно что вынимать холодильник по узкой лестнице. Я подхватил его под мышки, потянул на себя, и мышцы в спине отозвались таким протестом, что в глазах поплыли пятна. Кровь на штанине была горячая и липкая, моя куртка пропиталась мгновенно.

Я тащил его метр, потом другой. Он стонал — значит, был ещё живой. Нога волочилась за нами, оставляя длинный тёмный след. Из трещины дохнуло жаром так, что по спине прокатилась волна мурашек и в челюсти стукнули зубы.

На пятом метре парня с другой стороны подхватил тот самый работяга с перевязанной рукой. Молча, одной здоровой рукой и плечом — как давно решённое. Я даже не успел кивнуть. Вдвоём мы вытащили парня за фургон и опустили на асфальт. Работяга остался стоять рядом, тяжело дыша.

Парень дышал. Серое лицо, белые губы, неровное дыхание — но дышал. С ногой было плохо, кровь толчками шла из-под штанины. Кто-то из бойцов, отбившись от тварей, подскочил с аптечкой, прижал бинт к ране и заорал в рацию что-то про эвакуацию. За фургоном ещё дрались — короткие хрипы, команды, вспышки. Потом стихло.

Я привалился спиной к борту фургона и дышал тяжело, как после километра по лестнице. Руки в чужой крови, куртка годилась только на помойку, колени тряслись по-собачьи. Мерлин молчал, и его молчание было красноречивее любо-

го ворчания. Ни «молодец», ни «дурак». От этого на душе стало не легче, а тяжелее.

Волконский-старший подошёл.

Сначала к раненому, не ко мне. Постоял две секунды, глядя вниз. Лицо не изменилось ни одной мышцей. Потом очень медленно повернул голову и встретился со мной глазами. Спокойный, оценивающий, точный взгляд — посчитал, взвесил, отложил в нужную ячейку. Я физически чувствовал, как меня сортируют. Лицо у Волконского стало такое, как у человека, заметившего незакрытую крышку на кастрюле с молоком: небольшое неудобство, которое нужно поправить.

Он повернулся к командиру и сказал ровно, по-деловому: — В клановый лазарет. Я распоряжусь.

Голос рабочий, спокойный — голос человека, чьи «распоряжусь» становятся приказом раньше, чем губы сомкнутся. Тошнота ударила меня коротко, тупо, прямо под дых. Я не понял, на что среагировал дар. Слова были ровные, лжи в них не слышалось. Волконский тут же отвернулся и пошёл к машине, не дождавшись ни ответа командира, ни взгляда раненого.

Свита потянулась следом, заурчали двигатели, чёрные седаны выстроились в колонну. Я отлип от борта фургона и потащился к выходу из оцепления, стараясь не смотреть на парня: если бы посмотрел ещё раз, сел бы рядом и больше не встал. Ноги гудели. Руки стягивало тёмной коркой.

Метрах в двадцати я услышал. Сам не хотел. Ветер дул в мою сторону, а голос Волконского-старшего нёсся чётко, хоть и негромко. Он стоял у открытой двери седана, прижимал телефон к уху.

— Лазарет отменить. Списать как боевые. Компенсация семье по тарифу, через канцелярию, чтоб к утру всё было закрыто.

Три рубленых фразы в трубку, на ходу. Как отменяют пиццу, которую уже не хочется. Передумал. Не голоден. Спишите.

И тошноты в этот раз не было. Потому что вот это и было настоящее: решение, принятое ещё там, у фургона, когда он спокойно говорил «лазарет». Дар тогда дёрнулся. Просто я не сразу въехал, на что именно.

Я остановился в трёх шагах от ленты и стоял, глядя на собственную куртку, по которой ползло пятно. По асфальту прокатилась пустая жестянка из-под колы и звонко стукнула в бордюр.

Волконский, не отнимая трубку от уха, добавил уже тише, для своего:

— И того рабочего, что отошёл с поста. Который мальчишке помогал. В графу. Не должен был.

Один раз я моргнул — и он уже сел в машину.

За спиной слышались быстрые шаги. Девушка моего возраста, может на год старше: тёмные волосы убраны назад в простой узел, серые глаза, ровное собранное лицо, фор-

менный пиджак поверх белой рубашки. Без украшений, без парфюма. Она нагнала меня уже за оцеплением, на нормальном асфальте промзоны, и встала так, чтобы её не было видно от машин.

Она протянула мне клинок — стандартный служебный меч в простых ножнах без герба, какие носит охрана. Я узнал пустые крепления, которые видел у раненого на поясе.

— Возьми, — сказала она. — Ему больше не понадобится. Семьи нет, забирать некому.

Голос у неё был ровный, но кончики пальцев на ножнах побелели — пальцы выдали то, что лицо аккуратно приколо.

Под рёбрами шевельнулось — не от лжи, нет. Под её ровным голосом лежала тонкая глубокая трещина: несогласие, которое она засунула так далеко, что оно стало частью её скелета. Она не бунтовала и не плакала — просто отдавала клинок мёртвого человека единственному, кто попытался его вытащить.

Наши пальцы соприкоснулись при передаче — холодные кончики, тонкое запястье, на безымянном серебряное кольцо с волконским гербом, не вычурное, но безусловное.

— Спасибо, — сказал я. Горло не сжалось.

Она посмотрела на меня долго и внимательно — не так, как смотрел её отец, без холода и без оценки-и-отброса. С близкого расстояния стало видно, что она старше, чем казалась в первый момент: не девчонка, а почти девушка, со-

бранная слишком ровно для своего возраста.

— Ты полез за ним сам, — сказала она. — Без дара, без оружия. У нас за такое обычно не благодарят.

— Я и не просил.

Уголок её рта дрогнул так, что почти улыбкой это назвать было нельзя, но и не назвать тоже не получалось.

— Вижу.

Она развернулась и пошла к машинам — прямая спина, ровный шаг, без оглядки.

Я остался стоять на промзоновском асфальте с чужим клинком в одной руке и чужой кровью на другой. Клинок оказался тяжелее, чем выглядел.

\* \* \*

Дома я зашёл с заднего двора. Разулся в коридоре, сунул клинок под кровать — между матрасом и стенкой, чтоб мама случайно не задела. Куртку кинул в стиралку не глядя. Пятна крови, ясное дело, не отойдут. Но хоть глаз не мозолят.

Я сел. Руки до сих пор тряслись мелкой дрожью. В голове всё смешалось: оплавленный асфальт, рука работяги, парень с вывернутой ногой, взгляд Волконского — одна секунда, и ты уже мусор. Холодные пальцы девчонки на моих ножнах. И жестянка, что всё катилась и катилась по бордюру.

Телефон затрезвонил. Мама.

— Саш, ты где? Почему до сих пор не дома?

Горло мгновенно перехватило. Опять этот ком, тяжёлый, как свинец под языком. Сказать «гулял»? Дар не пропустит,

сразу в грудь колынет. Сказать «был у Разлома»? Мама ляжет и не встанет. «Нормально всё»? Опять ложь. Я молчал секунду дольше, чем нужно.

— Саша?

— Задержался после школы, — выдавил я.

Это была правда — я и впрямь задержался, просто не там, где она думала. Горло не сжалось, но и не отпустило до конца, а застыло где-то на середине, как заклинившая дверь.

— Ладно. Руки мой, ужин на плите.

Она повесила трубку, и я ещё какое-то время сидел, глядя на потухший экран. В нём отражались моя комната, моё запястье в подсохшей чужой крови и моё лицо — чужое мне самому.

Мерлин заговорил не сразу. Сначала долго молчал, и я чувствовал его — не слова, а давление внутри, как будто он перебирал мысли и проверял каждую на прочность. Когда заговорил, голос был не дед, не ворчун, не шут. Стратег.

«Сиятельство. Ты не убил никого. Сие нужно понять сразу, чтобы дальше не путать. Но условия — сложил. Слушай внимательно, сие главный твой урок за сегодня».

— Слушаю.

«Парень с вывернутой ногой был внутренним делом Рода — своя форма, свой герб на нашивке. Их система, какая бы мерзкая ни была, его бы дотащила: по их тарифу, в их лазарет, но дотащила. Шанс был. Невелик, но был. А ты в эту систему влез снаружи».

— Я его вытащил из-под удара.

«Ты его подобрал. И, что важнее, увидел. Стал свидетелем — чужой подросток с раненым на руках, без рода, без подписки, без рычага. Сиятельство, такие свидетели не нужны Волконскому ни на одном из его столов. Дешевле списать парня в боевые потери, чем оставить запись о том, как его тащил с земли какой-то нищий с улицы. Поэтому громко сказал "лазарет" — для тебя. А отойдя на двадцать шагов, тихо отменил — для канцелярии».

Я молчал.

«Не услышь я того звонка — и сам бы не понял. Услышал и понимаю. Ты не убил, отрок. Ты сложил условия. Подобрал — стал свидетелем. Свидетели не нужны. Цена — на тебе».

— А рабочий, — сказал я негромко.

«А рабочий — отдельная плата. Отошёл с поста, помог тащить, попал в графу. Что с ним сделают, я не ведаю и врать тебе не стану. Может, штраф, может, увольнение, может, та же самая графа, что и у парня. Узнавать не наша забота — наша забота запомнить, что и его судьбу ты сложил тем, что побежал».

Я закрыл глаза. Под веками поплыли тёмные пятна — от усталости и от того, что зрачки помнили слишком много вспышек за этот час.

«Сие не упрёк, — добавил он тише. — Сие урок, который тебе ещё не раз отзовется. Помощь за чужой счёт — не помощь, а перестановка цены. Ты молод и горяч и не знал, во

что лезешь. Теперь знаешь. В следующий раз думай, кому делается хуже от твоего шага. И только потом шагай».

Я лёг на спину и уставился в потолок. Под кроватью лежал чужой клинок, в стиральной машине крутилась чужая кровь. А в груди — впервые за три дня — тёплый узел тихо шевельнулся: пустой, выжженный, но всё-таки живой. Не сила, а слабее силы — обещание, что когда-нибудь она вернётся.

И я лежал, думая о том, что это обещание теперь не подарок, а долг, и брать его в руки придётся куда осторожнее, чем я брал сегодня чужой меч.

## Глава 4. Первый реванш

Источник вернулся на пятый день. Не целиком — скорее как кран, который еле-еле пускает воду после того, как пере-крывали стояк. Тонкая струйка вместо напора, но хоть что-то.

Я почувствовал это утром, когда мылся. Горячая вода текла по плечам, и вдруг внутри, где-то между рёбрами, тепло сдвинулось. Не просто грело, как последние дни, а шевельнулось — будто маленький мотор, который кто-то включил на минимальных оборотах. Лёгкое жужжание, почти незаметное, но после пяти дней пустоты я уловил его мгновенно.

«Сиятельство», — сказал Мерлин. Голос был тихий, почти нежный. Для Мерлина. «Источник просыпается. Не дёргай его. Пусть наполняется сам».

— Сколько?

«Не спрашивай сколько. Просто не трать попусту. Когда хватит — научу гейсу».

— Гейсу?

«Торг с мирозданием. Отдаёшь часть себя — получаешь силу. В усадьбе я отдал облик и половину дара, чтобы произвести Слово через тебя. Оттого и сажу бесплотным голосом в твоей черепушке, а не стою рядом как подобает. Не самая выгодная сделка, но ты жив. До тех пор — терпи».

Я вытерся, оделся и спустился к завтраку с ощущени-

ем, что внутри наконец-то загорелась лампочка. Маленькая, тусклая, но после темноты — всё равно праздник.

После уроков мама написала, чтобы я подошёл к лавке Абрамова.

Лавка стояла на углу, как стояла всегда. Узкий вход, мутное стекло, внутри запах колбасы, мокрого картона, пролитого масла и денег, которые тут слишком любят. У прилавка толклись две бабки.

Мама стояла у мясного отдела. Абрамов улыбался ей своей сладкой улыбкой, от которой у меня сводило челюсть ещё до дара.

— Мария Ивановна, для вас лучший окорок. Свежее не бывает. И цена почти даром.

«Сей торгош похож на угря в жилете», — буркнул Мерлин.

Абрамов привычным жестом кинул мясо на весы. Стрелка встала на полкило.

— Полкило ровно. Свежайшее. Как и обещал.

Тошнота кольнула. Привычная, фоновая — ложь мелкая, бытовая. Но Мерлин вдруг заговорил другим тоном. Не ворчливым — рабочим.

«Слышишь? Он произнёс утверждение при свидетелях. "Полкило ровно. Свежайшее." Сие его слова. Ежели они ложны — Мироздание готово взыскать. Тебе надобно лишь зафиксировать».

— Как?

«Чуешь источник? Узел в груди, тёплый. Он слаб, но на одно действие хватит. Возьми его слова и вдави в мир. Как печать в воск. Не торопись».

Мама уже полезла за кошельком.

Я уставился на весы и потянулся к теплу внутри. Оно было на месте — маленькое, хрупкое, как огонёк свечи на сквозняке. Я мысленно ухватил слова Абрамова — «полкило ровно, свежайшее» — и начал вдавливать их в реальность. Не словом, а усилием, как если берёшь чужую фразу и впечатываешь в то, что есть на самом деле.

Между рёбрами натянуло так, что я задержал дыхание. Короткий жар, будто напряг мышцу, которой никогда не пользовался.

Весы дёрнулись. Стрелка, которая спокойно стояла на пятистах, задрожала и поползла влево. Абрамов не заметил — уже заворачивал мясо. Но пружина внутри щёлкнула, и стрелка упала на четыреста.

— Стоп, — сказал я. — Тут не полкило.

Абрамов оглянулся и впервые за день выглядел растерянным. Стрелка показывала четыреста и мелко дрожала, будто весам стало стыдно.

— Что за... — он ткнул в чашу. Стрелка не двинулась.

— Контрольные, — сказал я. — Давайте проверим.

«Грубовато, но для первого раза сойдёт», — сказал Мерлин. «Ты привязал его слова к реальности. Мироздание проверило и нашло разницу. Дальше оно само».

Бабки у хлеба повернули головы. Абрамов на автомате перенёс мясо на контрольные весы. Стрелка встала на четырёхстах сорока.

В лавке начался маленький апокалипсис.

— Ах ты, паразит!

— Да я у тебя творог брала вчера!

— Толстомордый жулик!

Одна бабка замахнулась сумкой. Вторая требовала пересчёта всего за неделю. Абрамов побледнел и начал мямлить про магнитный фон и ошибку калибровки, но слова у него выходили всё тише, будто язык тяжелел с каждой попыткой.

— Деньги верну, — буркнул он наконец.

— И мясо своё оставьте себе, — отрезала мама.

Мы вышли из лавки почти с пустыми руками. Мама шла быстро, злая. У угла остановилась и посмотрела на меня.

— Это ты как понял?

— У него морда подозрительная.

Не вся правда, но и не ложь. В горле не сжало.

Через несколько шагов в висок вкрутили длинный ржавый саморез. Я остановился у стены, зажмурился и выдохнул сквозь зубы. Головная боль ударила резко и по-деловому — дрель в черепе.

— Саш? — мама взяла за локоть.

— Голова. Просто подожди.

«Цена», — спокойно сказал Мерлин. «Ты не только заметил ложь, но и заставил её проявиться для всех. Источник

слаб — даже на одно мелкое действие тело платит».

Мама дотащила меня до дома. Голова держала около часа — тупая тяжесть, от которой хотелось лечь лицом в подушку. Но прошла. И когда прошла, я лежал и думал не о боли, а о том, как стрелка поползла влево. Маленькая, дурацкая, бытовая победа. Весы в лавке. Шестьдесят граммов мяса. Ерунда.

Но ерунда, от которой бабки на углу будут ходить к Абрамову с линейкой ещё месяц. Маленький камушек, от которого расходятся круги.

Когда мы с мамой свернули во двор, уже смеркалось. И там стояла чёрная «Чайка».

Слишком чистая для нашей улицы. Слишком гладкая. Как будто её выставили напоказ, чтобы люди заранее поняли: сейчас им объяснят жизнь без права задавать вопросы.

Чуть дальше, у соседнего подъезда, стояла ещё одна машина. Серая «Волга», без эмблем, без шика. Невзрачная, но не местная. В ней кто-то сидел и не торопился выходить. Просто ждал.

Дар не дёрнулся — никто не врал. Но в груди шевельнулось другое: ощущение, что во дворе сразу две инстанции, и обе пришли по нашу душу.

У мастерской стояли двое в сером. Один с папкой, второй с лицом, которое хочется зашкурить до нормального выражения. Отец рядом с ними выглядел так, будто за последние десять минут резко постарел.

—...в рамках программы реконструкции квартала, — ровно говорил серый с папкой. — Помещение подлежит освобождению.

Мама замедлила шаг. Отец повернулся к нам.

— Мастерскую сносят, — сказал он. — Волконские чистят линию под новый проект.

Тошнота не пришла. Эти двое не ввали — им не нужно было врать. Они пришли не торговаться, а забрать. Правда может быть мерзкой, и от мерзкой правды дар не защищает.

Отец подписал бумагу. Пальцы у него дрогнули. Серые кивнули одинаково вежливо, как две дверные петли, сели в «Чайку» и уехали.

Во дворе стало тихо.

Через окно мастерской виден верстак, лампа, катушки провода, паяльник, самовар, который отец обещал отдать завтра. Всё на местах, но уже выглядело чужим.

Мама первой подошла к отцу.

— Мы что-нибудь придумаем.

Под рёбрами мягко кольнуло. Не ложь — надежда, слишком тонкая для такого удара.

Отец посмотрел на меня. Ждал фразы из тех, что произносятся автоматически.

— Я не скажу, что всё будет нормально, — сказал я. — Сейчас всё хреново. Но делать вид, что это не так, я тоже не буду.

Отец смотрел на меня несколько секунд. Потом выдохнул.

— И не надо. От нормального мы давно отъехали.

Они пошли к подъезду. Мама придерживала отца за локоть, как будто это он, а не мастерская, только что подписал акт.

Я задержался у машины с папкой — помог собрать несколько катушек, которые серый забыл бросить в кузов, и сделал это медленнее, чем нужно было. На самом деле я ждал серой «Волги».

Серая «Волга» дождалась, пока подъездная дверь хлопнула за родителями, и тогда из неё вышел человек.

Я узнал его сразу. Тот же штатский, что приходил к нам вечером после Разлома. Тот же неброский пиджак правильного покроя. То же лицо человека, который разговаривает вежливо и ничего не пропускает.

В руке у него был коричневый конверт.

— Александр Анатольевич, — сказал он, не подходя слишком близко. — Хорошо, что вы задержались. Не люблю поднимать людей дома, у них сегодня и так был тяжёлый день.

Я молчал. Дар молчал тоже. Никакой лжи в его словах не было. Это было хуже, чем ложь.

— Вот, — он протянул конверт. — Это вам. Не мне.

Я взял.

— Что это?

— Вызов на классификационную комиссию. Сектор «Б», окно семь. Завтра, к десяти. Управление по делам одарён-

ных лиц нерегламентного пробуждения. У Софьи Игнатьевны очень узкое окно приёма, после неё талоны не выдают, поэтому, прошу, не опаздывайте.

Он говорил это ровным справочным голосом, как будто диктовал расписание электрички.

— Я никуда не оформлялся.

— Не оформлялись, — кивнул он. — За вас оформили. На прошлой неделе в радиусе четырёхсот метров от вашего дома сработал индикатор привязки реальности. Слабый всплеск. Стабильный. Стабильно повторяется. — Он чуть склонил голову. — Сегодня в шестнадцать тридцать пять — снова. Лавка Абрамова. Весы. Узнаёте маршрут?

Я не ответил.

— Я и не жду ответа. Я просто говорю, что у системы есть на вас файл, и завтра вам нужно прийти и сесть напротив человека, у которого этот файл лежит. Иначе по третьему обращению из вашего сектора участковый поднимется к нам, и тогда уже не я буду к вам ходить.

Дар не сжал горло. Это всё была правда.

Он чуть качнул головой в сторону подъезда.

— У вашего отца сегодня сложный вечер. У матери — тоже. В Управлении это тоже понимают. Поэтому повестку вам, а не им. Не превращайте мою вежливость в пустое место, Александр Анатольевич. Завтра, к десяти. До свидания.

Он сел в «Волгу» и уехал, не торопясь, так же, как «Чайка» десять минут назад.

Я остался стоять во дворе с конвертом в руке.

«Сей человек неприятен, — сказал Мерлин в голове, и впервые за день голос у него был не ворчливый, а внимательный. — Не злобой неприятен. Точностью. Он не угрожал, сиятельство. Он просто перечислил, в каком положении ты находишься».

— Я заметил.

«Заметил? Хорошо. Тогда заметь и второе: он пришёл за тобой не потому, что ты Артосов. О сём он не ведаёт. Он пришёл за пацаном, который дважды дёрнул ткань мира — у Разлома и у весов. Сие у них называется одарённым нерегламентного пробуждения. Удобная клетка. Внутри нескучно».

Я сунул конверт под куртку и поднялся в квартиру.

Ужин шёл молча. Мама грела вчерашний борщ, потому что готовить силы не было. Отец курил у форточки и в первый раз за мою жизнь не сделал маме замечания за дым в кухне. Я ел и думал, как сказать им. Думал, как не сказать.

Сказал, когда мама вытирала стол.

— Завтра я в город. С утра.

Отец посмотрел.

— Школа?

— Не школа.

Горло не сжалось.

Я вытащил конверт и положил на стол. Мать вытерла руки и села. Отец затушил сигарету в блюде, чего обычно никогда не делал, и взял лист.

Прочитал не сразу. Прочитал дважды.

— Это что, — сказал он наконец. — Это что вообще?

— Это то самое, — ответил я. — Из-за чего меня уже неделю мутит, когда люди врут.

Тишина.

Мама посмотрела на меня так, как смотрят на человека, который только что сообщил, что у него вторая жизнь, и вторая ему не нравится.

— И ты всё это время...

— Молчал. Извини.

Она ничего не сказала. Просто встала, подошла, обняла за затылок и прижала на секунду — коротко, по-маминому, без слов. От её куртки пахло работой и стиральным порошком, и от этого запаха внутри меня шевельнулось что-то, чего никакой дар не зацепил бы.

Отец перечитал повестку в третий раз.

— Сектор «Б», — сказал он. — Я знаю это здание. Я там оформлял допуск к кабельным трассам в девяностых. Очередь с шести утра. С шести.

— Значит, выйду в пять.

— В четыре. Талоны живой очереди — отдельно от электронных. Это мне Вася с отделения говорил. Числа не сходятся, потому что одни идут по своему списку, другие по своему, и у них пересменка в восемь сорок.

Он сказал это автоматически, как человек, который объясняет ребёнку, как переходить трамвайные пути. И только

потом до него дошло, что он сейчас не дорогу объясняет.

Он положил повестку обратно на стол и провёл по ней ладонью, как будто пытался разгладить.

— Один пойдёшь?

— Лучше один.

— Ага.

Он не спорил. Он просто кивнул, и я впервые увидел, как у отца, который всё на свете чинит руками, не хватает руки. Не физически. Просто здесь — не та техника.

Мама вернулась к столу с моим школьным блокнотом и ручкой.

— Дай сюда. Я выпишу пункты по списку. Что взять. Что подписать нельзя. Что сделать, если начнут давить.

— Мам, я...

— Я работаю в больнице двадцать лет, Саша. Я знаю, как заполняют такие бумажки. Сядь.

Я сел.

Она писала аккуратным крупным почерком, на каждый пункт оставляя место под мои возможные пометки. Отец стоял за её плечом и подсказывал — где штамп ставят, какие графы лучше оставить пустыми, где принципиально не подписывать без копии. Они оба никогда в жизни не оформляли одарённого. Просто им за жизнь столько раз оформляли что-то другое, что общая логика была им знакома, как дворовому коту знакома логика кухонного окна.

Я смотрел на их затылки и думал, что Мерлин был прав

ещё в усадьбе. Тот, кого я люблю, — не исключение из дара. И не помеха ему. Это, кажется, и есть единственное, что у меня сейчас осталось своего.

Мерлин молчал. Уважительно.

В одиннадцать мама закрыла блокнот и ушла в спальню. Отец задержался на кухне.

— Саш.

— Да.

— Если завтра скажут что-то такое, после чего мы тебя не увидим неделю, — он не договорил. Подвинул мне через стол пачку смятых купюр, тех самых, которыми вчера обычно сдают за квартиру. — Это с заначки. На такси домой. На любой случай.

Дар не дёрнулся. Он сказал ровно то, что хотел сказать.

Я взял.

— Спасибо, пап.

— Не благодари. Просто завтра дойди обратно.

Он ушёл.

Я остался один на кухне, с маминым блокнотом, отцовскими купюрами и повесткой. На повестке сверху, под двуглавым гербом, стояло шапкой: «Управление по делам одарённых лиц нерегламентного пробуждения. Сектор „Б“. Окно 7. Софья Игнатьевна Тур.»

Софья Игнатьевна Тур.

Звучит, как заведующая аптекой.

«При Артуре в подобных случаях шёл к королю и просил

о вмешательстве, — сказал Мерлин. Спокойно, без архаики, тем самым голосом, который у него прорезался раз в сутки.

— Ныне, как я понимаю, идут к окошку семь».

— Похоже на то.

«Пойдём, сиятельство. Мне любопытно посмотреть, во что ваш век превратил аудиенцию».

Я выключил свет на кухне, пошёл к себе и долго не мог уснуть. За окном с двух сторон гавкали собаки, поезд прошёл по эстакаде, во дворе кто-то вёз мусор. А в груди тихо, ровно грело — не сила, ещё не сила, обещание силы. И где-то рядом, в ящике стола, лежал коричневый конверт с гербом.

Я смотрел в потолок и думал, что больше всего на свете мне сейчас нужна вторая пара кед.

## Глава 5. Окно семь

В пять утра двор пах сырым асфальтом и собачьей миской, которую кто-то забыл унести с ночи. Я застегнул куртку до верха, проверил конверт во внутреннем кармане и пошёл на остановку, и кеды чавкали на левом ботинке, где у мизинца разошлась дыра, а носок внутри уже намок.

«Сиятельство, обувь твоя — позор для целого Рода», — заметил Мерлин с интонацией человека, которого с утра разбудили зря.

— Ты бы хоть до электрички помолчал.

«Я молчал. Ты вышел.»

К зданию Управления я вышел в пять сорок. Серый куб советской застройки, светло-зелёные стены до уровня пояса, выше — штукатурка с разводами, и табличка над крыльцом сообщала: «Управление по делам одарённых лиц нерегламентного пробуждения». Под ней, мелче и маркером по мокрому картону, было приписано «Вход с торца», и стрелка от сырости расплылась в кляксу.

На двери торца от руки добавили: «Талоны живой очереди — только до 8:40». Кто-то ручкой приписал: «не верьте», а ниже другой ручкой исправили: «верьте». Очередь сидела внутри, в тамбуре, на скамейках, накрытых жёлтым линолеумом, выгоревшим до состояния «когда-то это был цвет», и пахло мокрой одеждой и старым кофе из автомата, у которо-

го мигала лампочка «нет молока». Тётка за стойкой выдала мне картонный талон с номером 47, не поднимая головы.

— Электронная?

— Это и есть электронная.

— А живая?

— А живая — после восьми сорока, если останутся часы приёма.

Я хотел спросить, как оба номера могут быть одной очередью, но передумал: дар фоново булькнул не от лжи, а от того, что тётка сама не верила в свои слова и не считала это проблемой.

«Привычка, — сказал Мерлин. — Сей зверь живёт в любой системе. Не лги, но и не уточняй».

Я сел рядом с женщиной средних лет в цветастом плаще, который, кажется, помнил Олимпиаду, и на коленях у неё лежала папка с документами, перевязанная аптечной резинкой.

— Тоже к Софье Игнатьевне? — спросила она. — Эльвира Григорьевна. Я уже четвёртый раз, они мои документы теряют. Один раз — случайность, четыре — система. А у вас?

— Поздно проснулся.

— У меня голос, — сказала она с гордостью. — Внутренний. Шепчет лотерейные числа, точные, не врёт, только на день позже. Я ему говорю: Семён Иванович, миленький, ты бы хоть в обед, на сегодняшние. Молчит. Зачем мне такой дар?

Дар правды у меня внутри тихо сел на пятки: Эльвира Григорьевна не врала, она действительно жила с голосом по имени Семён Иванович и считала это даром.

«Сие, кажется, не дар, а соседка с третьего этажа», — задумчиво сказал Мерлин.

— А вы здесь за справкой?

— Без справки в ЖЭКе не верят, а раз дар — льготы по коммуналке как пробудившейся вне реестра. Тысяча двести в месяц — макароны, чай и на стиральный порошок остаётся.

Через двадцать минут напротив сели женщина и пацан лет тринадцати-четырнадцати, и у обоих было то самое выражение, по которому видно: пришли не за справкой, а потому что иначе нельзя. Куртка с собачьей шерстью у матери, лицо стянуло до скул; пацан смотрел в пол, костлявая шея торчала из ворота куртки на размер больше, чем нужно.

— Тоже к семёрке? — не выдержала Эльвира Григорьевна.

— К семёрке, — глухо ответила мать. — Школа.

Пацан поднял глаза на полсекунды, и я увидел, что зрачки у него ещё дрожат, как у человека, который недавно очень сильно испугался самого себя.

— Шкафчики, — сказал он тихо матери.

— Я знаю, что шкафчики. Молчи.

«Дар вышел сам, без зова, — сказал Мерлин негромко. — Оформят со специальным куратором, ежели повезёт. Ежели

нет — техкорпус, годика через два».

— Он же ребёнок.

«Сиятельство, ты прошлой неделей сам был ребёнком. У них сие не аргумент».

К семи в тамбуре сидело уже человек двадцать, из коридора щёлкала пластиковая колонка, и женский голос с интонацией справочной автобусной станции называл номера. Эльвиру Григорьевну вызвали в семь сорок, и через десять минут она вернулась с талоном другого цвета и лицом человека, которому Семён Иванович впервые шепнул что-то полезное.

— Послали на магомер, — шепнула она. — А магомер сегодня после обеда.

В восемь тридцать колонка вызвала номер сорок семь.

Я встал, и кед чавкнул на расстоянии трёх метров от стойки. Тётка наконец подняла голову.

— Паспорт в залог. Ручка ваша?

— Нет.

Она вынула из ящика синюю шариковую с обкусанным колпачком, явно не моими зубами, и положила передо мной двенадцать страниц, скреплённых канцелярской скрепкой. На верхнем листе стояли двуглавый герб и слова «Сектор Б. Форма 12-а (упрощённая)». Двенадцать страниц упрощённой формы.

«Прежде чем писать, читай, — сказал Мерлин. — Сия бумага — не анкета, сия бумага — окоп, в который тебя сажа-

ют».

Я сел за длинный фанерный стол у окна, где уже скрипели ручками такие же, как я. Начиналось с понятного: фамилия, имя, отчество, адрес, школа. Дальше становилось интереснее.

«Опишите момент пробуждения дара (свободная форма, не более одной страницы)».

Я написал: «Ощутил резкое изменение восприятия в районе сектора Б-3 на прошлой неделе». Горло слегка стянуло. Дописал: «Точное время не помню, подробности уточню в личной беседе». Стянуло меньше. Достаточно.

Дальше пошли вопросы из разных эпох. «Цвет источника» — варианты от золотого до иного, и Мерлин велел ставить «иное», потому что сам я источника глазами не видел. «Наблюдались ли в детстве (до 7 лет) сны с геральдической символикой?» Я в семь лет видел во сне Соника на оранжевом фоне, но Мерлин подтвердил, что Соник — не герб.

— Я честно не помню, были ли гербы.

«Ставь "нет". Истинного ответа на сей вопрос ты сам не знаешь, посе му мир не возразит. Правда, коей ты не ведаешь, в счёт лжи не идёт. Запомни сие — пригодится».

Я поставил «нет», и дар молчал. Дальше шла серия похожих ловушек — наличие домашнего фамильяра, телепатия у животных, упоминания о Великом Пробуждении 1853 года, — и я ставил «нет» подряд, потому что моя кошка Раиса, прожившая у нас до моих десяти, фамильяром не была: она

была Раисой.

В графе типа дара стояли три варианта — «слышит ложь», «чувет магию», «другое».

«Ставь "другое", — сказал Мерлин. — Третья графа в анкетах создана, чтобы туда сваливать всех, кого лень классифицировать. В неё тебя поместят и забудут, а забыть — для тебя сейчас лучшая судьба».

Я поставил «другое».

В самом низу последней страницы стояла строка в жирной рамке: «Заведомо ложные сведения, сообщённые в настоящей анкете, преследуются по закону. Я ознакомлен. Подпись». Если ложные не заведомо — ты в порядке, если заведомо — статья, и граница проходила ровно по краю того места, где я только что прошёл.

«Подписывай, — сказал Мерлин. — Ты не лгал заведомо, ты не знал. Сие законом не карается».

Я подписал, и на секунду ладонь нагрелась — еле, на грани, как будто дар прислушался и решил не возражать.

Я отнёс анкету к окну семь. В окне сидела сухая женщина лет пятидесяти: седые волосы в узле, очки на цепочке, синий пиджак нерабочего покроя, и перед ней лежали журнал в твёрдой обложке, тонкая тетрадка в клетку и стакан с ручками в трёх отдельных гнездах. На стене за её спиной висел двуглавый орёл и плакат «Берегите тишину в коридоре», у которого отслоился левый угол.

— Серов? Александр Анатольевич?

— Да.

Она взяла мою анкету и стала читать — не пробегать глазами, а именно читать, двигая губами на сложных вопросах. Я постоял минуту, потом сел на привинченный пластиковый стул, у которого левая ножка была короче правой.

— «Иное» в графе цвета источника, — пробормотала она. — Седьмой год подряд большинство пишет «иное», и никто никогда не уберёт этот вопрос.

— А кто его писал?

— Никто, он был всегда. Как двуглавый орёл: вы с ним рождаетесь, с ним умираете, с ним стоите в очереди.

Дар не дёрнулся: Софья Игнатьевна не врала, она разговаривала со мной как с очередным пунктом своего двадцатилетнего стажа. Дочитав до графы «другое» в типе дара, она фыркнула короткой носовой нотой и сделала пометку в своей тетрадке мелким аккуратным почерком.

— Что вы там пишете?

Она подняла глаза впервые — усталые и точные, не злые, просто пронизательные, как у человека, который двадцать лет смотрит в одно окошко на одних и тех же испуганных людей.

— Свои наблюдения. Анкета меня раздражает двенадцать лет, но никто не разрешает её менять, а наблюдения — мои. Это, надеюсь, ещё разрешено.

— И что вы наблюдаете?

— Что у вас руки чистые, обувь грязная, и вы прочита-

ли каждый вопрос, прежде чем поставить галочку. Большинство ставит по диагонали и ждёт, что мир обойдётся.

— Мир не обходится?

— Обходится. Ровно в той мере, в какой ему помогают.

Дар молчал. Софья Игнатьевна закрыла тетрадку и подвинула мне жёлтый талон.

— Магомер. Кабинет одиннадцать, по коридору налево, до конца, направо.

Кабинет одиннадцать пах нагретой пластмассой и лимонадом. Лаборант оказался парнем года на три старше меня, в халате, который был ему велик, и с открытой бутылкой на столе. Прибор был размером с микроволновку, белый, с одной чёрной ручкой и табло вверху; сбоку торчал провод с пластиной для ладони. На корпусе стояла табличка «Магомер М-3, 2011 г.в. Не пинать», и кто-то маркером приписал: «А очень хочется».

— Серов? Ставьте ладонь. Каплю крови, ланцет в коробке, берёте сами — я колоть не имею права.

Я нажал на палец, капнул на углубление. Прибор тихо загудел, табло мигнуло нолём, потом побежали цифры — пять, семнадцать, тридцать четыре, восемьдесят, двести шестьдесят один. На двести шестьдесят одном табло застыло, погасло, загудело уже не тихо, внутри что-то щёлкнуло, и магомер выдал «Е-04» и потух весь, включая лампочку «сеть». Лаборант медленно отставил бутылку.

— Это у вас или у прибора?

— У прибора, наверное.

Дар не сжал горло: это и правда мог быть прибор — ему было четырнадцать лет, и у него на боку стояло «не пинать». Лаборант выдернул что-то из розетки, воткнул обратно, и магомер ожил. Я капнул ещё раз, цифры снова побежали, и на двухстах семидесяти прибор моргнул, выдал «Е-04» и лёг, уже без писка.

Лаборант посмотрел на меня, потом на потолок, достал из ящика журнал в синей обложке.

— Пишу: «Класс не определён, прибор требует проверки». Это нормально, у меня третий случай за месяц. Несите Софье Игнатьевне, она знает, что с этим делать. Или не знает, но талон выпишет.

В коридоре сердце билось неровно — не от страха, скорее от облегчения.

«Прибор не врал, — почти любясь сказал Мерлин. — Он захлебнулся. Дар Истинного Слова во внуке не помещается в коробку, измеряющую бытовых сенсоров. Ты только что прошёл первое испытание и даже не понял, как: не определившись — сие в их системе лучше любого определения».

Софья Игнатьевна взяла бумагу лаборанта, кивнула, как будто ничего другого и не ожидала, и убрала её в мою папку.

— Пройдите в самый конец коридора, кабинет без номера, дверь справа. Постучите, не входите, ждите ответа.

— А что там?

— Там вас встретят.

Дар не дёрнулся.

В конце коридора было тихо: линолеум новее, и пахло уже не старым кофе, а просто бумагой. Дверь без номера выглядела как любая другая, но ручка у неё была латунная, не пластиковая. Я постучал.

— Войдите.

Кабинет был хороший — не роскошный, никаких кожаных кресел и портретов в позолоте, а именно хороший, как у районного врача со стажем: окно с настоящей шторой, фикус на подоконнике, нормальный стул для посетителя, не пластиковый. На столе лежали папка с моей фамилией, моя анкета, синяя тетрадка Софьи Игнатьевны (она уже дошла сюда раньше меня, я не понял, как) и журнал лаборанта.

За столом сидел тот самый штатский. Тот же неброский пиджак. То же лицо человека, который ничего не пропускает и при этом не повышает голоса.

— Александр Анатольевич, садитесь. Я Виктор Сергеевич Горин. Чай будете? У меня хороший, не из автомата.

Дар молчал. Чай у него действительно был хороший — это, к моему удивлению, тоже было правдой.

— Буду.

Он налил мне чай в нормальную чашку, поставил передо мной, сел напротив и сложил руки на столе.

— У нас две беды, Александр Анатольевич. Я попробую коротко, потому что вы с пяти утра на ногах, и я это вижу.

— Слушаю.

— Беда первая. Вы засветились в усадьбе Артосовых на прошлой неделе. Камер там почти нет, но есть сигнатура — обычная, не магическая, по слою пыли с пола. Ваши кеды. — Он чуть наклонил голову, не глядя на мои ноги. — Оставленные следы соответствуют привезённым к нам в чёрном пакете на следующее утро. Это статья, не страшная: несанкционированное проникновение в зону магической нестабильности, штраф или общественные работы по обстоятельствам. Сама по себе — бытовуха.

Дар не дёрнулся.

— Беда вторая. — Виктор Сергеевич не делал ни одной лишней паузы. — В вашем районе на прошлой неделе сработал индикатор привязки реальности. Слабый, стабильный, повторяющийся. Лавка Абрамова, школа, Серая Башня. До этого — Разлом на промзоне. Мы пока не знаем, что именно вы делаете, но мы знаем, что вы это делаете. Вы можете подтвердить или не подтверждать, нам сейчас это не нужно.

Он говорил без давления, как зачитывают акт, в котором всё уже понятно сторонам.

— Это вы.

— Это я.

Дар не возразил.

— Хорошо. — Виктор Сергеевич чуть кивнул, будто я только что облегчил ему день. — В сумме — статья и неучтённое применение дара. Это вместе уже не бытовуха, это то, что мы у себя называем «программа А».

Он помолчал. Я ждал.

— Программа А — оформление дела, срок небольшой, переводится в трудовой контракт. Технический корпус Имперской Канцелярии, нижние Разломы. Вы будете носить ящики и держать пластины контура, пока кто-нибудь рангом выше делает работу, и через год вернётесь без половины пальцев. Если повезёт. Я вам говорю это не как угрозу, а как факт: я был там в восемьдесят девятом и знаю, как там устроено.

Дар молчал. Это была правда, и от неё пол под стулом неуютно проседал.

— Программа Б, — продолжал он, — программа Имперской Академии для нерегламентных одарённых. Пятый ранг, без герба, без Рода. Учитесь на общих основаниях, по упрощённой схеме, в особой группе. После выпуска — служба по распределению; в технический корпус не направляют. Это не курорт, но руки и голова у вас останутся при вас.

Он разогнул один палец и положил его на стол.

— Между А и Б нет варианта В. Я понимаю, мы все хотели бы вариант В, но у меня тоже есть начальник, у начальника — заместитель, у заместителя — циркуляр. Изобретать его никто из нас не уполномочен.

— А что с моими родителями?

Виктор Сергеевич впервые посмотрел на меня чуть дольше обычного.

— Хороший вопрос. И вы его задали правильно — с са-

мого начала, не в конце. Я это, Александр Анатольевич, оценил.

Дар не дёрнулся.

— Ровно до того момента, пока вы в программе Б, ваша семья — не наша забота. Снос мастерской вашего отца — городские дела, мы туда не вмешиваемся ни в плюс, ни в минус. Если вы выпадаете из программы — программа перестаёт защищать. Если вы исчезаете — мы начинаем искать, и вокруг вас будут спрашивать вашу мать. Не я, не сегодня и не завтра, но кто-нибудь обязательно будет. Это не угроза, это устройство.

Он подвинул мне через стол папку и шариковую ручку — не свою, обычную, такую же, как у тётки в тамбуре, с обкусанным колпачком.

— Подпиши внизу третьей страницы и на обороте.

Я открыл папку.

Третья страница была плотным машинописным текстом, и я начал читать. Виктор Сергеевич не торопил — просто сидел, держа чашку обеими руками, и смотрел в окно.

«Программа № 12-А „Адаптация лиц нерегламентного пробуждения“. Контрактные обязательства слушателя...»

Я читал внимательно. Большую часть пунктов я понимал — учиться, не пропускать, не ронять честь Академии, не покидать территорию без согласования. Один пункт остановил меня.

«Слушатель настоящим подтверждает отсутствие родо-

вой принадлежности на момент подписания, отсутствие действующих вассальных и присяжных обязательств перед иными Родами, а также отсутствие сведений о прямой родственной связи с упразднёнными или пресечёнными Родами, признанных таковыми Имперской Канцелярией».

Я перечитал.

— А если у меня... — я остановился.

— Что у вас? — спокойно спросил Виктор Сергеевич, не двигая ни одной мышцей лица.

Я посмотрел на него поверх листа.

— Что считается сведениями о прямой связи?

— Подтверждённые документами. Запись в реестре. Ваше осознанное и доказуемое заявление в установленной форме. — Он чуть наклонил голову. — Слухи, домыслы, бабушкины рассказы и совпадения по фамилиям к сведениям не относятся. У нас в стране, Александр Анатольевич, любая третья фамилия похожа на упразднённую.

Дар прислушался к каждому его слову и не нашёл лжи. Виктор Сергеевич не врал — он просто аккуратно проводил мне границу, тонким карандашом, по линейке.

— Понятно.

Я взял ручку.

«Дыши, отрок, — сказал Мерлин. — Ровно. Сие — не ложь, сие — формула, написанная теми, кто сам не помнит. Подтверди отсутствие сведений, как они их понимают, — и мир их поймёт».

— А если я понимаю иначе?

«Тогда мир, к несчастью для тебя, тоже поймёт иначе».

Я поставил ручку на бумагу. Подпись я начал спокойно — первая буква, вторая, третья. На середине росчерка ладонь нагрелась.

Не «нагрелась» в смысле волнения. Нагрелась изнутри, под кожей, как будто кто-то приложил к ладони раскалённый пятак — не больно, но горячо, и жар пошёл от середины ладони к запястью узкой полосой, будто ожог от горячей трубы. Я довёл подпись до конца, поставил точку, опустил ручку. Жар не уходил.

«Часть фразы — правда, — спокойно сказал Мерлин. — Ты не имеешь действующих вассальных обязательств, ты не значишься в реестре. Часть — нет: кровь твоя помнит дом, дом помнит тебя. Сие — правда, которую мир признал и которую ты только что подписью отрицаешь. За такое мир не убивает, но и просто так не отпускает».

— Я понял, — выдохнул я.

Виктор Сергеевич посмотрел на меня. Я опёрся ладонью на стол — той самой — и перенёс на неё вес на секунду. Локоть чуть подломился. Он заметил, не повёл бровью, не задал вопроса. Просто отметил.

— Вторая подпись на обороте, Александр Анатольевич, — мягко сказал он. — Там попроще. Ознакомлен с правилами внутреннего распорядка.

Я перевернул лист и подписался ещё раз. Здесь жар не

пришёл — просто буквы.

Виктор Сергеевич забрал папку, не спеша вложил в неё мою анкету, тетрадку Софьи Игнатьевны и листок лаборанта, и закрыл.

— Удачи в Академии, Александр Анатольевич. Документы получите завтра, Софья Игнатьевна свяжется с вами. И попробуйте чай, пока он ещё горячий.

Я попробовал. Чай был с чабрецом и действительно хороший.

В коридоре меня догнала Софья Игнатьевна — папка под мышкой, очки на переносице, в руке синий картонный талон.

— Молодой человек.

— Да.

— Ваш предварительный пропуск. — Она протянула картон. — Подъём в шесть, занятия с восьми, общежитие к северу от полигона. Не перепутайте: к северу. К югу — служебный корпус, туда вход только по второму допуску, вас туда пока не пустят.

— Спасибо.

— Это не всё. — Она достала второй листок. — Список того, что должно быть при себе в первый день. Пункт двенадцать выделен жирно. Прочтите.

Я прочёл. Пункт двенадцать был: «Гражданская обувь, не менее двух пар. Форменная обувь предоставляется в течение первой недели. До этого момента слушатель ходит в собственной».

Я посмотрел на свои кеды. На левом, у мизинца, дыра разошлась ещё на пару миллиметров за это утро. Носок внутри был мокрый.

— Запасной пары нет.

Софья Игнатьевна кивнула медленно, и у неё это получилось так, как будто она внутренне записала в свою тетрадку ещё одну строчку. Её тетрадки я начинал бояться.

— Тогда первое задание у вас будет до Академии: найти вторую пару. Это, Александр Анатольевич, не самое сложное, что от вас потребуется в этом году. Но всё-таки.

— Понял.

— И ещё. — Она чуть понизила голос, но не оглянулась. — Виктор Сергеевич — вежливый человек. Очень. Не путайте вежливость с мягкостью, это разные вещества.

Дар не дёрнулся. Это была правда без всякого второго дна.

— Я не путаю.

— Хорошо.

Она развернулась и пошла обратно в свой коридор узким стуком каблучков по линолеуму. Я остался у двери с двумя картонками, талоном и горячей ладонью.

На улице шёл серый дождь, который собирался идти весь день. Я стоял на ступенях и думал, что сейчас в этих кедах пройду до остановки полтора квартала, потом ещё минут двадцать буду ехать в электричке с мокрыми ногами, и никакое пробуждение никакого дара этого не изменит.

«Сие напоминает мне поступление под знамёна короля

Лотара, — задумчиво сказал Мерлин. — Только там был обет крови, очищение, ночное бдение в часовне и вручение меча на рассвете. А здесь — пункт двенадцать про обувь и пропуск из синего картона. В целом, отрок, всё то же самое».

— Утешил.

«Я тебе не нянька, чтоб утешать. Я твой наставник».

— Слышал уже.

«Тогда пошли. У нас, как выяснилось, ещё одна задача до Академии. Где в твоём районе берут крепкие кеды по бедной цене?»

Я сунул картонки во внутренний карман — туда же, где утром лежал конверт. Конверта уже не было: он остался в папке с моей фамилией на столе у Виктора Сергеевича Горина, и в этой же папке лежал мой росчерк под фразой про отсутствие родовой принадлежности.

Ладонь под рукавом всё ещё грелась — тихо, ровно, как маленькая лампочка, которая не выключилась. Мерлин про неё ничего не говорил, и я подумал, что это, может, и хорошо.

Я шагнул в дождь. Кед чавкнул на первом же шаге.

## Глава 6. Стена

Три недели между Канцелярией и Академией прошли странно тихо.

Я ждал подвоха, ночного звонка, серой «Волги» во дворе — а получил расписание из Управления и звонки Софьи Игнатьевны раз в неделю по списку документов: справка из школы, медкомиссия, фото три на четыре, и не забудьте, молодой человек, поликлинику Сектора Б, в районной не зачтут. Голос у неё в трубке был ровный и сухой, как наждачка средней зернистости, и каждый раз я понимал, что в её синей тетрадке прибавилась очередная строчка.

Школу я закрыл экстерном по упрощённой схеме — программа Б давала такое право, и завуч в нашей школе была этому рада, кажется, больше всех. Экзамены сдал без блеска, без провала и, что важнее всего, без вранья в сочинениях, потому что писать обтекаемо при включённом даре оказалось труднее, чем алгебра.

Кеды нашлись через знакомого отца, мастера-обувщика, который доделал старую пару Феди-сменщика и продал за треть цены. Они были тяжелее моих, и в первый день нога в них непривычно потела, но левый мизинец впервые за год оказался в темноте. Это была первая вещь в моей жизни, которую я считал не «новой», а «положенной по списку», и от такого ощущения становилось не по себе.

Виктор Сергеевич Горин заходил один раз. Не домой — поймал у подъезда, не вышел из «Волги», просто опустил стекло и спросил, понимаю ли я, что такое программа Б на практике. Я сказал, что понимаю. Он кивнул, не уточняя. Стекло поднялось, машина уехала. Дар не дёрнулся ни разу за разговор: Виктор Сергеевич не врал, ему было важно, что я отвечу, а не как.

А Мерлин эти три недели изучал современность.

Это было, пожалуй, самое странное зрелище за всё, что со мной случилось с момента усадьбы. Он читал через мои глаза всё, до чего я дотягивался: новости, учебники, форумы, рекламу, маго-визор по вечерам. Сначала ужасался каждые пять минут. Потом стал ужасаться реже, но точнее. К третьей неделе уже не спрашивал, что такое маршрутка, зато мог полчаса разбирать структуру клановой отчётности, которую нашёл в открытом доступе, и объяснять, где именно врут цифры. Современный мир ему не нравился. Но он его понимал, и с каждым днём всё лучше.

Тренировки с источником шли медленно. Я научился находить узел в груди за секунду, но вдавливать чужие слова в реальность получалось через раз. Мерлин говорил, что для трёх недель это неплохо. Потом добавлял, что при Артуре за три недели уже командовали отрядом, и я снова чувствовал себя отстающим.

Тишина тревожила больше всего. Детектор в башне Волконских пискнул в ту ночь и с тех пор молчал. Никто из них

не пришёл, никто не спросил. Будто всплеск крови Артосовых просто растворился в городском шуме, и теперь меня вело не их внимание, а скучный картонный пропуск с двуглавым гербом, лежащий в ящике стола.

«Не обольщайся», — сказал Мерлин, когда я однажды это произнёс вслух. — «Молчание не есть забвение. Молчание есть подготовка. Кто-то где-то решает, стоит ли тратить на сей писк ресурсы. И решит».

Накануне Софья Игнатьевна позвонила в последний раз. Сказала: восемь утра, центральные ворота, корпус пятого ранга, серый блок, не золотой. Я переспросил про серый. Она ответила: молодой человек, золотой блок не для вас, не путайте, мы это уже обсуждали.

Утром я выехал на маршрутке.

Сорок третий маршрут полз через половину города, в салоне пахло вспотевшей курткой водителя и магазинными пирожками с капустой, и под ногами у меня лежал рюкзак с тем самым картонным пропуском, формой по списку, маминым блокнотом и парой запасных носков, которую она сунула в самую последнюю минуту, не объясняя зачем. У задней двери за моей спиной препирались две женщины из Сектора Б о расписании врача-эндокринолога; впереди тётка с авоськой требовала остановки у магазина «Светлый», которого, по словам водителя, на этом маршруте уже два года как не было.

«Сей повозочный возок воистину народен», — сказал

Мерлин с интонацией, которой обычно описывают экспонаты музея под открытым небом.

— Ты в третий раз за утро об этом говоришь.

«Третий раз — для закрепления впечатления. Первый раз я только удивлялся».

Маршрутка остановилась за квартал до Академии — дальше водитель не лез: пробка из лакированных седанов и пафосных внедорожников начиналась задолго до парадных ворот. Я вышел, поправил ляжку рюкзака и пошёл по тротуару пешком, мимо храма, переливающихся магических щитов на капотах и музыки, цена которой за вечер превышала бюджет отцовской мастерской за год. На мне был обычный школьный пиджак, перешитый матерью под рост, и обычная белая рубашка, которая вблизи выглядела почти прилично. Среди местной золотой молодёжи я выглядел как опечатка в дорогом глянцево́м журнале.

«Молчи, сиятельство. Смотри. Запоминай. Здесь лгут профессионально, аки дышат», — голос Мерлина в голове прозвучал неожиданно сухо. В нём не было привычного ворчания или издёвок над моим гардеробом. Старик был серьёзен, и это пугало меня сильнее, чем перспектива быть высмеянным мажорами. «Сие место пропитано фальшью столь густо, что даже стены научились льстить. Не доверяй ни улыбка́м, ни камню под ногами».

— Понял я, не дурак, — прошептал я себе под нос, выходя из машины.

Академия подавляла. Три колоссальные башни-Якоря уходили в серое небо, переплетаясь между собой ажурными мостами. Мрамор, золото, рунная резьба — всё здесь кричало о власти и вековых традициях. Я шёл по широкой аллее, и поток первокурсников в новенькой форме с иголки обтекал меня, как вода обтекает мусор в чистом ручье. Они пахли дорогим парфюмом и уверенностью в завтрашнем дне. Я же пах канифолью, дешёвым мылом и лёгкой паникой, которую старательно заталкивал поглубже в желудок.

У центрального фонтана, из которого вместо воды била чистая голубая мана, собралась кучка ребят. В центре стоял высокий парень с идеально уложенными волосами. Дмитрий Волконский-младший. Я узнал его по фотографиям из сводок светской хроники, которые мама иногда просматривала после смены. На нём был мундир с золотым шитьём, а на пальце тускло поблёскивал перстень с печатью одного из Великих Кланов.

— Ого, смотрите-ка, — Волконский прервал свой рассказ и выразительно уставился на серый ярлык, торчащий из моего нагрудного кармана. — Серый блок. Программа Б, нерегламентный. Мужики, у нас сегодня в кампусе пополнение: пятый ранг, без рода, без герба, в школьном пиджаке. Эй, парень, ты вообще как сюда добрался? Маршруткой?

Свита дружно заржала, и от того, что он попал в точку, мне стало неудобнее, чем от самой остроты. Дар внутри привычно зашевелился — ложь Волконского была мелкой, бы-

товой: он прекрасно знал, кто я, потому что серый ярлык программы Б был не сюрприз, а пометка для своих, чтобы не путать с настоящими слушателями. Но под этой бравадой, под слоем дорогого одеколона и холёной кожи, я почуял кое-что ещё.

Страх.

Дмитрий Волконский боялся. Не меня, конечно. Чего-то своего, глубокого и липкого. Он фонил этим страхом, как неисправный накопитель в мастерской отца. Это было так неожиданно, что я на секунду замер, приглядываясь к нему не как к врагу, а как к пациенту.

«Запомни его страх, — холодно отозвался Мерлин. — Не трать силу на дворовых псов. Те, кто лает громче всех, обычно первыми бегут с тонущего корабля. Иди мимо».

Я последовал совету. Просто шагнул вперёд, намеренно задев Волконского плечом. Он не ожидал такой наглости и даже не успел возмутиться, только рот приоткрыл. Я не обернулся. Пусть гадает, почему нищий вассал даже не удостоил его ответом. У меня были дела поважнее, чем мериться остроумием с перепуганным мажором.

Лекционный зал первого курса больше напоминал храм магии, чем учебный класс. Потолок-небо жил своей жизнью: там медленно плыли созвездия, хотя на улице стоял день. Тяжёлые дубовые парты были испещрены защитными рунами, а на каждой лежал учебник «Основы Миропорядка». Я открыл его наугад и едва не захлопнул обратно — Дар уда-

рил в голову такой волной тошноты, что перед глазами поплыли круги.

Каждая строчка в этой книге была ложью. Изящной, выверенной, возведённой в ранг истины. Там писали о благородстве Якорей, о том, как кланы милостиво защищают мир от Разломов, и о том, что клятвы — это всего лишь формальность для удобства управления потоками маны.

«Они учат детей обходить клятвы! — голос Мерлина в моей голове сорвался на глухое рычание. — При Артуре за сие вырывали язык и клеймили лоб позорным знаком. Они превратили Истинное Слово в разменную монету для торгашей! Мерзость... какая же мерзость».

Я чувствовал, как Мерлина буквально трясёт от ярости. Но за этой яростью проглядывало что-то ещё. Его внимание вдруг переключилось. Я ощутил, как он «выглядывает» через мои глаза, пытаясь рассмотреть что-то за пределами стен и паркета.

«Александр, замри», — прошептал он, и в его голосе я впервые услышал дрожь. Мерлин не был из тех, кто боится, но сейчас он явно нервничал.

— Что там? — едва слышно спросил я.

«Под нами... глубоко внизу. Что-то старое. Живое. И очень голодное. Я не могу разглядеть через вуаль забвения, но сие не просто фундамент. Академия стоит на костях чего-то великого, и оно всё ещё дышит».

Я невольно посмотрел на свои ботинки. Представлять, что

под полированным полом шевелится какая-то древняя жуть, не хотелось. Но Мерлин зря паниковать не стал бы. Я закрыл учебник, чтобы не провоцировать очередную вспышку тошноты, и постарался сосредоточиться на реальности.

Шум в зале внезапно стих. Двери распахнулись, и на подиум вышла женщина в строгом тёмно-синем платье. Декан Сапфинова. Её кожа была бледной, почти прозрачной, а глаза напоминали два куска льда, в которых никогда не отражалось солнце. От неё веяло холодом, который не пробивали даже магические обогреватели под потолком.

— Приветствую вас, претенденты, — голос Сапфиновой резал тишину. — Сила без дисциплины — это просто способ красиво умереть. Сегодня у вас первый практический экзамен на полигоне. Внутренний двор, через двадцать минут. Опоздавших не ждём.

Зал зашевелился. Студенты потянулись к выходу. Я сунул учебник в рюкзак и влился в поток.

В коридоре между лекционным крылом и полигоном было прохладно и пусто. Основная толпа ушла по центральной лестнице, а я срезал через боковой проход, потому что отец когда-то говорил: в чужом доме первым делом ищи запасной выход.

Она стояла у высокого окна.

Тёмные волосы, простая форма без украшений. Книга под мышкой. Никакой свиты, никакого шума. Просто девушка, которая читала у окна и подняла голову, когда я прошёл ми-

мо.

Дар замолчал.

Не ослаб. Не утих. Выключился. Фон чужой лжи, который давил с самого утра, исчез, будто кто-то дёрнул рубильник. В голове стало тихо, и от этой тишины мне стало не легче, а наоборот, неуютно. Как в комнате, где только что выключили холодильник и ты понимаешь, что привык к его гулу.

Мерлин заостенел внутри. Не насторожился — именно заостенел.

Девушка посмотрела на меня. Спокойно, без интереса. Потом чуть наклонила голову.

— Твой поток не встраивается в структуру здания, — сказала она негромко. — Кто ты, Серов?

Она знала мою фамилию. По бейджу программы Б, наверное, или по спискам, в которых Серов на сером блоке в этом году нашёлся бы только один — я.

— Студент, — ответил я.

Горло не сжалось.

— Структура не лжёт, — сказала она. — В тебе лишнее.

Я не нашёл что ответить. Она и не ждала. Просто пошла дальше по коридору, и через несколько шагов привычный фон вернулся — тошнотный, мутный, знакомый. Дар снова работал. Только тишина от неё осталась где-то внутри, как отпечаток.

«Сиятельство», — голос Мерлина всплыл из глубины, и в нём звенело что-то незнакомое. — «Сие имя. Нимуэ. За-

помни его и держись от неё подальше».

— Почему?

«Потому что я сказал».

Первый раз Мерлин отказался объяснять. Это значило больше, чем любая лекция.

\* \* \*

Полигон находился во внутреннем дворе под прозрачным куполом. Внутри стояли каменные платформы с рунными кругами, штук двадцать, по числу первокурсников. Ничего героического. Обычная проверка на владение силой: встанешь на платформу, тебе подадут внешний поток, а ты пять минут стараешься не упасть и не блевануть.

— Распределитесь по платформам, — скомандовала Сапфинова. — Номер платформы на вашем пропуске. Ассистенты помогут.

Я посмотрел на пропуск. Четырнадцатая. Крайняя справа, у самой стенки купола.

Волконский стоял через несколько человек от меня и на меня не смотрел. Совсем. Слишком старательно не смотрел.

Я занял позицию. Платформа как платформа. Руны синие, камень чуть тёплый. Ничего особенного. Мерлин тоже ничего не сказал. По обе стороны от меня другие первокурсники занимали свои места. Кто-то нервничал, кто-то делал вид, что нет.

— Начали, — сказала Сапфинова.

Первые секунды было терпимо. Поток пошёл мягкий, ров-

ный, как и должен быть на учебной проверке. Я делал то, чему учили на вводной лекции: распределял энергию по каналам, дышал ровно, старался не зажиматься.

Потом что-то изменилось.

Не сразу. Сначала просто стало теплее. Потом камень под ногами завибрировал чуть сильнее. Потом поток дёрнулся и загустел, будто кто-то открыл второй вентиль. Руны на моей платформе начали менять цвет — из синих стали багровыми.

У других платформ руны оставались синими.

«Сиятельство», — голос Мерлина стал острым. — «Что-то не так с контуром. Поток нарастает. Сие уже не учебный уровень».

Боль пришла через несколько секунд. Не мягкая тренировочная нагрузка, а жёсткий удар, от которого у меня потемнело в глазах и свело рёбра. Я схватился за край платформы и попытался дышать.

Вокруг зашумели. Кто-то из ассистентов крикнул:

— Четырнадцатая нестабильна! Серов, вы в порядке?

Я бы ответил, если бы мог. Но поток уже не отпускал. Он втягивал меня, как воронка, и где-то внутри этого потока я вдруг почувствовал то, чего чувствовать не должен был. Кривизну. Ложь. Не в словах, не в документах. В самой энергии. Будто кто-то подмешал в учебный поток что-то чужое и грязное.

Мой дар среагировал раньше, чем я успел подумать. Ис-

точник в груди вспыхнул сам, без команды, и я увидел структуру потока целиком. Светящийся каркас из линий и узлов. И в нём, вплетённый глубоко, сидел чужой артефакт. Маленький, чёрный, размером с напёрсток. Он искажал контур, превращая учебную нагрузку в что-то совсем другое.

«Не трогай его!» — крикнул Мерлин.

Но рука уже тянулась. Не я решил. Кровь решила. Дар решил. Что-то внутри меня увидело ложь в структуре силы и потянулось к ней так же, как в лавке Абрамова тянулось к кривым весам. Только масштаб был другой.

Пальцы сомкнулись на чём-то холодном и скользком.

Источник в груди обожгло так, что я чуть не разжал руку. Но дар уже работал — не по словам, не по чужим обещаниям, а по самой структуре, по лжи, вплетённой в энергию. Впервые я чувствовал, что можно вдавить не слово, а вещь. Что ложь бывает не только в речи.

— Твоё слово — прах, — выдохнул я.

Никто не слышал. Слишком тихо, слишком сквозь зубы. Но мир услышал. Артефакт в моей ладони дёрнулся и начал распадаться.

Барьер купола треснул.

Звук был такой, будто лопнуло толстое стекло. По всему полигону замерли. Студенты на соседних платформах зазмурились. Ассистенты бросились к пультам.

— Отключайте четырнадцатую! — крикнула Сапфинова.

Я стоял на коленях, сжимая в кулаке что-то, что жгло и

таяло одновременно. Руны подо мной мигали, а перед глазами всё плыло. Боль была уже не острой, а глухой и тяжёлой, как будто меня завернули в мокрое одеяло и положили под пресс.

Последнее, что я увидел перед тем как вырубиться — чьи-то ноги, быстро приближающиеся по полу полигона, и чей-то голос, который сказал очень спокойно:

— Не трогайте его. Посмотрите на руки. Он не горит.

Потом темнота.

## Глава 7. Дно

Я пришёл в себя с ощущением, будто мне в голову ночью заливали бетон, а потом забыли вытащить арматуру.

Потолок был белый, ровный и дорогой. Не больничный даже, а академический. Такой обычно делают люди, у которых и стерильность с гербом.

Я моргнул, осторожно повернул голову и понял, что руки забинтованы до запястий. Пальцы слушались, но с обидой. Под бинтами тянуло жаром, как после хорошего ожога паяльником. В нос бил запах лекарств, озона и ещё какой-то магической химии, от которой язык сводило.

— Живой? — спросил я мысленно.

«Пока да», — отозвался Мерлин.

И всё.

Я даже не сразу понял, что меня смутило. Обычно старик после таких историй начинал с лекции, почему я идиот, продолжал обзором чужих заговоров и заканчивал предсказанием скорой катастрофы. Сейчас в голове было тихо. Подозрительно тихо.

— Ты чего такой смирный?

Мерлин помолчал ровно настолько, чтобы мне стало неуютно.

«Покуда ты валялся без чувств, я успел узреть под сим местом нечто», — произнёс он наконец. «Старое. Живое. Не

желаю говорить о сем здесь».

— Почему?

«Не здесь. Стены помнят».

От такого ответа обычно становится не легче. Я уставился в потолок и очень ясно понял, что престижная Академия нравилась мне всё меньше. Сначала меня чуть не сварили на учебной платформе. Потом я очнулся с забинтованными руками. Теперь ещё и стены у них, оказывается, с хорошей памятью. Осталось только выяснить, что столовая у них на костях, и можно будет смело просить скидку за проживание.

Дверь в палату открылась, и внутрь вошла медсестра. Молодая, усталая, с таким лицом, будто студенты портят ей жизнь строго по расписанию. Она посмотрела на меня, потом на какой-то светящийся прямоугольник у койки и кивнула сама себе.

— Очнулись. Хорошо.

— А варианты были?

Она отогнула край бинта, быстро и уверенно проверила ладонь и хмыкнула.

— Для первого ранга вы на удивление живой.

— Звучит почти как похвала.

— Это наблюдение, — сухо сказала она. — Обычно после такого перегруза остаются ожоги глубже и мозги жиже.

— Ботинки целы?

Она впервые посмотрела на меня как на человека, а не как на неудобный расходник.

— Что?

— Ботинки, говорю, целы? Мне сказали, в таких случаях от студента остаются подошвы. Хотел понять, искать новые или ещё похожу.

Медсестра скосила глаза вниз, увидела мою обувь у кровати и неожиданно фыркнула.

— Ваши целы. Хотя я бы на их месте подала жалобу.

— Спасибо. Значит, день не совсем пропал.

Она поменяла повязку, сунула мне стакан воды и велела пить медленно. Вода была холодная, с привкусом серебра. Я выпил половину, после чего мир перестал качаться так нагло.

— Когда меня выпустят?

— Утром, если не начнёте снова светиться.

— Постараюсь не светиться без причины.

— Постарайтесь, — сказала она и пошла к двери. — И не пытайтесь вставать резко. У вас каналы до сих пор искрят.

Когда дверь закрылась, я снова остался наедине с белым потолком, бинтами и слишком тихим Мерлином.

— Что ты увидел внизу?

«Сказал же: не здесь».

— Ты сейчас звучишь как дед, который знает, где лежат деньги, но проверяет наследника на характер.

«Ежели б там лежали токмо деньги, я бы спал спокойнее», — отрезал он.

Вечер в лазарете тянулся медленно. За окнами темнело, в

коридоре пару раз проезжала каталка, где-то далеко хлопали двери. Я успел снова задремать, когда в палате стало заметно холоднее.

Я открыл глаза и увидел декана Сапфирову.

Она стояла у койки так, будто пришла не к студенту, а к непонятному сбою оборудования. Тёмно-синее платье, ровная осанка, взгляд без лишних чувств. Даже усталость у неё выглядела организованной.

— Александр Серов, — сказала она. — Как самочувствие?

— Средне. Голова болит. Руки мои, кажется, при мне. Уже неплохо.

— Для ваших исходных данных — очень неплохо.

Она не села. Просто смотрела, будто сверяла меня с какой-то внутренней схемой.

— Официальная версия инцидента готова, — сказала Сапфирова. — Нестабильность платформы четырнадцатого сектора. В документах всё будет именно так.

— А неофициальная?

— Неофициальная меня интересует больше, — спокойно ответила она. — Выдали импульс, который ослепил датчики на полигоне. Для первого ранга это невозможно. Объясните. Горло не сжало.

Это я отметил сразу.

Потому что правды у меня было ровно столько же, сколько у неё. То есть почти нисколько.

— Не знаю, что произошло, — сказал я. — Правда не знаю.

Сапфирова смотрела долго, холодно и внимательно. С таким взглядом, наверное, удобно искать трещины в броне и ошибки в формулах.

— Что вы чувствовали перед выплеском?

— Сначала нагрузку. Потом боль. Потом как будто поток пошёл криво. Не словами даже. Как если бы отец собрал прибор, а внутри одна деталь стояла не туда. Снаружи всё вроде работает, а внутри уже дым.

Она чуть наклонила голову.

— И вы сумели это удержать.

— Я скорее не умер вовремя.

— Это тоже навык, — сказала она без тени шутки.

Я ждал вопроса про Волконского. Или про артефакт. Или хоть какого-то намёка, что она знает больше. Ничего такого не было. Только интерес. Холодный, профессиональный, неприятный.

— Вы меня не устраиваете как загадка, Серов, — произнесла она. — Слишком много шума для слишком малого ранга.

— Постараюсь шуметь потише.

— Не надо. Надо понимать, чем именно вы шумите.

Она перевела взгляд на мои руки.

— Каналы обожжены, но структура сохранилась. Это тоже не укладывается в норму.

— У меня вообще плохие отношения с нормой.

Сапфинова пропустила это мимо.

— Не умирайте, Александр. Если вспомните что-то о природе вашего выплеска — приходите ко мне.

— Хорошо.

— И ещё. До тех пор считайте, что вам очень повезло.

— Уже считаю.

Она коротко кивнула и вышла, оставив после себя холод и ощущение, что меня только что аккуратно взвесили без весов.

— Ну? — спросил я у Мерлина.

«Она не ведаёт, что случилось», — ответил он. «И сие тревожит её больше всего».

— Ты ей веришь?

«В том, что она не лжёт о своём неведении, да. Во всём прочем она аки хороший охотник: сперва наблюдает, потом ставит силок».

Ночью я спал рвано. Снились руны под ногами, чужой жар в ладонях и что-то огромное, лежащее глубоко под камнем. Я просыпался, пил воду и каждый раз ловил себя на том, что стараюсь не смотреть на пол слишком долго.

Утром меня действительно выписали. Медсестра выдала банку мази, сухо пожелала не сдохнуть до конца недели и отправила по коридору в общежитие.

Я натянул форму, подхватил сумку и пошёл. Коридоры были длинные, одинаковые и пахли чужим утром. Где-то за

углом хлопнула дверь, кто-то уронил что-то звонкое, кто-то заржал. Обычные звуки обычного учебного заведения, если не считать, что у каждого второго на рукаве герб стоимостью с нашу квартиру.

Академия встретила меня так, будто я успел за одну ночь превратиться из нищего первокурсника в плохую примету.

В коридоре передо мной расступались. Не с уважением. С уважением на меня здесь вообще никто не смотрел. Это было что-то хуже и удобнее: суеверие. Люди обходили меня так, как в районе обходят открытый люк. Вроде ничего личного, просто никому не хочется проверять, что там на дне.

Я добрался до комнаты, бросил сумку на кровать и первым делом залез в академическую систему.

Рейтинг открывался с приятной анимацией, будто мне сейчас вручат медаль.

Я моргнул.

Александр Серов. Место: сто двенадцатое из трёхсот.

Вчера вечером, до проверки на полигоне, я был двести девяносто восьмым. Предпоследний. Дно. А сейчас — сто двенадцатый. Скачок на сто восемьдесят шесть позиций за одну ночь.

Система начислила баллы за "стабилизацию аномального контура при критической нагрузке". Формулировка была сухая, казённая и очень щедрая. Кто-то в деканате решил, что мой выплеск не просто случайность, а результат, который заслуживает оценки. Или кто-то хотел посмотреть, что

случится, если нищий вассал первого ранга вдруг окажется выше половины второкурсников.

«Любопытно», — сказал Мерлин. — «Кто-то тебя либо награждает, либо подставляет. Ежели первое, сие приятно. Ежели второе, сие привлечёт к тебе внимание тех, кому ты ещё вчера был безразличен».

— То есть я теперь мишень?

«Ты и прежде был мишенью. Токмо ныне ещё и с рейтингом, отнять кой каждый дурак сочтёт делом чести».

Мерлин оказался прав ещё до обеда. В коридоре после первой лекции меня уже дважды окинули таким взглядом, каким обычно смотрят на вещь, стоящую не на своём месте. Один парень со второго ранга — крепкий, с гербом Трубецких на рукаве — прошёл мимо и негромко бросил приятелю: "Видал? Серов. Первый ранг, а рейтинг выше моего. Система явно сбоит." Приятель усмехнулся и покосился на меня так, будто прикидывал, где лучше ставить подножку.

На первой лекции мне выдали толстый учебник по основам магического права. Я открыл на главе про Обеты и почти сразу почувствовал знакомую мутную волну под рёбрами.

Красивый переплёт. Тиснение. Схемы. Таблицы. И ложь, разложенная по полочкам, как в хорошем магазине.

«Сие ложь», — лениво сказал Мерлин на третьем абзаце. Я перелистнул страницу.

«И сие ложь».

Ещё страницу.

«О, а вот тут они украли у Артосовых, обкорнали, обмазали дерьмом и выдали за своё».

— Можно конкретнее?

«Можно. Видишь сию ахиною про гибкую трактовку Обета? При Артуре за подобные словеса тебя бы выгнали из зала прежде, чем ты успел открыть рот. Клятва должна быть прямой. Иначе сие не клятва, а торгашеская расписка».

Я снова посмотрел в учебник. Буквы не поплыли, но читать их хотелось примерно как состав дешёвой колбасы после отравления.

— Они реально этому учат?

«Они на сем стоят, сиятельство. Система, коя боится прямого слова, всегда сперва переписывает учебники».

Следующая книга была по истории кланов. Там меня затошнило уже веселее.

Каждый второй абзац рассказывал, как Великие Рода жертвенно взяли на себя бремя защиты мира. Судя по тексту, они вообще ничего не хотели для себя. Только пахать, страдать и спасать народ в свободное от дворцовых ужинов время.

— Меня сейчас или вырвет, или я начну ржать, — сказал я.

«Держись второго. Оно полезнее».

Я перевернул страницу, и кто-то остановился рядом.

Волконский. Стоял у моей парты, не садился. Руки сложены на груди, подбородок чуть задран. Свита ждала у вы-

хода — трое или четверо. Видимо, для одного разговора с первым рангом аудитория не требовалась, но поддержка на всякий случай пригодится.

— Сто двенадцатый, — сказал он негромко. — За одну ночь. Впечатляет.

Я молча смотрел на него. Дар тянул от Волконского кислым. Страх, который я чуял от него вчера, никуда не делся, но поверх выросла злость. Не горячая. Холодная, расчётливая. Злость человека, которому пришлось объясняться перед кем-то из-за вчерашнего, и теперь он пришёл компенсировать.

— Ты ведь понимаешь, что рейтинг — это не подарок, — продолжил он. — Это долг. У нас тут люди годами зарабатывают позиции, а ты получил их за то, что поломал чужое оборудование и красиво упал в обморок.

— Оборудование было кривое, — сказал я.

Горло не сжало.

Волконский дёрнул щекой. Он-то знал, почему оборудование было кривое. И знал, что я знаю. И не мог сказать ни слова, потому что тогда пришлось бы объяснять, откуда в учебной платформе взялся родовой артефакт.

— Смотри, Серов, — он чуть наклонился. — Здесь не район. Здесь за чужое место спрашивают. И не кулаками.

— Я запомню.

Он постоял ещё секунду, развернулся и пошёл к своим. Спина ровная, шаг уверенный. Красивый уход. Только паль-

цы у него были сжаты так, что побелели костяшки.

К полудню голова от учебников гудела сильнее, чем после лазарета. Зато стало ясно главное: в Академии лгали не только люди. Здесь лгали программы, рейтинги, схемы, формулировки, целые курсы. Мне как будто выдали доступ к внутренней плесени здания и предложили продолжать делать вид, что стены свежеевыкрашены.

В столовой от этого стало только веселее.

Огромный зал гудел, звенел приборами и пах дорогой едой, на которой почему-то всё равно умудрились сэкономить на вкусе. Я сел подальше от центра и решил просто есть молча. План развалился через две минуты.

Потому что дар здесь работал как карта.

Не в смысле красивых вспышек и озарений. Просто я начал чувствовать, кто кому врёт, зачем и где у этого разговора слабое место. Вот за дальним столом двое из Трубецких почти любовно хвалят проект Оболенских. По словам — союз, взаимное уважение, великое будущее. По факту — один уже примеряет чужие расчёты себе в карман, второй делает то же самое.

За соседним столом парень с третьего ранга уверяет компанию, что не рвётся в командные лидеры и предпочитает «спокойную учебную работу». Ложь была такая прозрачная, что её можно было пить вместо воды.

— Я начинаю понимать, почему ты всё время злой, — сказал я Мерлину.

«Я не злой. Я трезвый», — ответил он. «Смотри вон туда.

Видишь, как два клана хвалят друг друга?»

Я посмотрел в центр зала.

— Вижу.

«Стало быть, готовят нож. Ежели тебя гладят по плечу при свидетелях, проверяй, не тянут ли в сей миг кошель с другой стороны».

— Очень успокаивающая наука.

«Полезная. Политика есть искусство улыбаться, покуда считаешь чужие зубы».

Я вытащил из держателя салфетку и огрызок карандаша, оставшийся в кармане ещё с лекции. Начал чертить схему.

Волконские — Трубецкие: временная нежность.

Оболенские — всем нужны, никому не верят.

Те, кто громче всех заявляет, что они вне клановых игр, уже вляпались по шею.

Чем дальше я слушал, тем яснее проступала картина. Здесь никто не говорил прямо, зато почти все продавали будущее в рассрочку. Обещания, намёки, подмигивания, дежурные комплименты, вежливые поклоны. И под всем этим — расчёт. Очень бытовой, очень знакомый. Просто в моём районе так делили гаражи и подряды, а здесь — влияние, кафедры и доступ к людям посерьёзнее.

— Ты уже не ешь, а охотишься, — заметил Мерлин.

— Я хотя бы сижусь с котлетой, а не с кинжалом.

«Разницы меньше, нежели тебе мнится».

Я дописал ещё пару стрелок и понял, что обед давно кончился, а я сижу над салфеткой как районный конспиролог. Только вместо ниток на стене у меня был компот и чужие фамилии.

Это, конечно, тоже прогресс. Хотя ещё неделю назад мой максимум аналитики сводился к тому, кто в районе врёт про цену на подержанный байк.

Я убрал поднос, вышел в коридор и некоторое время просто шёл. Ноги ещё побаливали после лазарета. За окнами светило солнце, двор был пустой, кроме пары второкурсников, которые курили у фонтана. Нормальный день. Нормальные люди. Если не знать, что половина из них только что продала кому-то будущее за обеденным столом.

После обеда я свернул в библиотеку. Не потому что внезапно полюбил книги. Просто там хотя бы разговаривали тише, а половина вранья шепотом ощущалась терпимее.

Библиотека была огромная, прохладная и слишком приличная для места, где люди на самом деле должны учиться. Высокие стеллажи, свет под куполом, длинные столы, за которыми сидели студенты с лицами будущих министров и нынешних зануд.

Я взял какой-то справочник по клановой структуре, полистал для вида и довольно быстро понял, что Нимуэ была права. Надо смотреть не только на лица.

Расстановка.

Кто с кем сидит. Кто кого зовёт к столу, а кто держит на

расстоянии. Кому дают удобные места на практиках. Кого в коридоре останавливают преподаватели, а кого не замечают. Академия была не школой. Она была конвейером для иерархии. Тебя ещё толком не научили, а место в очереди уже выдали.

— Ты интересно смотришь на людей.

Я поднял голову.

Нимуэ стояла по другую сторону стола, держа под мышкой тонкую стопку книг.

Дар замолчал.

Не ослаб, не утих. Пропал, как шум за стеной, когда соседи наконец включают перфоратор. Тихо стало так резко, что я выпрямился на стуле.

Она посмотрела на справочник у меня в руках, потом на карман, куда я убрал салфетку из столовой.

— Ты не слушаешь слова, — сказала Нимуэ. — Ты смотришь, как они лежат на человеке.

«Опасна», — сразу произнёс Мерлин. «Держись подальше».

— Она единственная, от кого меня не мутит, — ответил я мысленно.

«Сие и есть худшее».

Нимуэ села напротив. Не спросила, не предупредила.

— Ты выжил там, где не должен был, — сказала она.

— Так вышло.

Она чуть наклонила голову. Изучала. Не как Сапфирова

— та взвешивала, прикидывала, решала, что с этим делать. Нимуэ просто смотрела, как смотрят на прибор, который выдал показания за пределами шкалы.

— Не стой завтра там, куда поставят без вопросов, — сказала она.

— Откуда ты знаешь, куда меня поставят?

— Я знаю, как здесь распределяют риск.

Она поднялась, собрала книги. Уже у прохода обернулась.

— Начни смотреть на расстановку, Серов. Не только на лица.

И ушла между стеллажами.

Дар вернулся сразу, весь разом, как возвращается головная боль после таблетки, которая не помогла.

— Ненавижу, когда ты оказываешься прав, — сказал я Мерлину.

«Я привык».

К вечеру эта мысль привела меня к доске объявлений.

Точнее, к толпе перед ней.

Над большим экраном светились строки:

**ПЕРВЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН.**

**РАЗЛОМ. КОМАНДНЫЙ ФОРМАТ.**

Я протиснулся ближе и начал искать свою фамилию. Нашёл быстро. После такого обычно не радуются.

Группа 7.

Дмитрий Волконский.

Иван Трубецкой.

Елена Оболенская.

Александр Серов.

Позиция: фронт.

Я перечитал ещё раз. На случай если экран решил пошутить. Экран не шутил.

Фронт в командной работе означал очень простую вещь. Первый контакт. Первая грязь. Первый удар. Тот, кто ловит на себя всё неприятное, пока люди посерьёзнее готовят красивые решения и потом получают аккуратные баллы в ведомости.

Сбоку раздался голос Волконского. Громче, чем нужно. Для публики.

— Серов, фронт. Логично.

Он стоял в двух шагах, с Трубецким и ещё парой своих. Не подошёл специально — просто оказался рядом и решил не упускать случай.

— На фронте проверяют тех, кто шумит не по рангу, — сказал он, повернувшись к Трубецкому, но говоря для меня и для всех, кто слушал. — Полезный фильтр. Либо покажешь, что умеешь, либо покажешь, что показывать нечего.

Вокруг стало чуть тише. Не все замолчали, но достаточно, чтобы я понял: это не разговор. Это выступление. Волконский днём, один на один, давил и угрожал тихо. Здесь, перед толпой, ему было проще. Зрители придавали ему форму.

Дар тянул от него знакомой кислятиной. Он не был уверен, что я промолчу. И боялся, что не промолчу. И всё равно

говорил.

— Удачи, — добавил он. С такой интонацией обычно говорят «сдохни».

Я ничего не ответил.

«Именно», — тихо одобрил Мерлин.

Толпа вокруг шумела, обсуждала составы, спорила о шансах, уже делила завтрашние роли. А я смотрел на четыре фамилии и видел не команду, а аккуратную упаковку для чужой подставы.

В кармане хрустнула салфетка с моей картой лжи.

Я вдруг очень ясно понял, зачем Нимуэ сказала именно это. Не стой там, куда поставят без вопросов. Потому что фронт мне тут дали не за талант. И не за заслуги.

Мне его выдали как удобный способ проверить, сдохну я со второго раза или всё-таки мешаю кому-то всерьёз.

— Дед, — тихо сказал я, не отрывая взгляда от списка. — Скажи что-нибудь ободряющее.

Мерлин фыркнул.

«Тебя опять кормят дерьмом и зовут обедом».

## Глава 8. Разлом

Завтрак я ел стоя.

Моё место за дальним столом заняли двое с третьего курса. Сели молча, расставили подносы и даже не посмотрели в мою сторону. Просто сели, как садятся на свободную лавку в парке: первый пришёл — твоя. Я мог бы подойти и напомнить, что сижу тут второй день. Но зачем? В зале на триста человек никто не встанет, чтобы освободить место первому рангу у стены.

Я подхватил поднос и устроился у колонны. Каша была горячая и без вкуса. Казённая еда решает задачу, а не радует.

«Сиятельство», — заговорил Мерлин, и я сразу понял по тону: сегодня без ворчания. Голос рабочий. Ровный. Как у хирурга перед сменой. — «Разлом. Расскажу, куда жуёшь».

— Давай.

«Разлом — не дыра и не портал. Сие рана. Мир болеет, и там, где болезнь прорывается наружу, ткань реальности тоньше. Пространство искажается. Энергия ведёт себя так, как ей вздумается, а не так, как учат в ваших учебниках».

— Весело.

«Не перебивай. Внутри Разлома дар может повести себя непредсказуемо. Ты привык чують ложь от людей. Там людей может не быть, но тошнить будет. Разлом сам по себе —

нечто неправильное. Рана мира, кою мир пытается залечить. Ты почувешь сию неправильность. Скрутит сильнее, нежели от живого лжеца».

Я дожевал кашу и запил компотом.

— Почему мир болеет?

Мерлин помолчал дольше обычного.

«Не для ныне. Запомни пока: Разломы — следствие. Не причина. Когда вернёмся — объясню более».

Я не стал давить. Мерлин молчал тогда, когда тема была слишком большая для быстрого объяснения или слишком опасная для стен с хорошей памятью.

Поставил поднос на стойку и пошёл к оружейному сектору. По дороге стоял запах мокрого камня и чьего-то одеколona. Я запомнил это, потому что потом, вечером, не смогу вспомнить, как пахнет камень.

\* \* \*

Они уже были там.

Оружейный сектор — боковое крыло полигона. Длинное помещение с каменными стенами, стойки с экипировкой, запах металла и смазки. Ничего героического. Скорее кладовка, в которую вбухали бюджет.

Волконский стоял у стены, проверяя пластины на наручах. Двигался лениво, уверенно, будто собирался не в Разлом, а на пробежку. Рядом топтался Иван Трубецкой — широкоплечий, крупнее Волконского килограммов на пятнадцать, но каким-то образом меньше. Стоят два человека ря-

дом, один тяжелее, а всё равно выглядит тенью. Трубецкой ждал, пока ему скажут, что делать. Это читалось по рукам — то складывал, то убирал в карманы, то доставал снова.

Третьей была Оболенская.

Елена. Тёмные волосы собраны в короткий хвост, без единого украшения. Форма сидела так, будто в ней спали, тренировались и ели — не из небрежности, а от привычки к ней. На рукаве нашивка со щитом Оболенских. Она проверяла якорные стержни — длинные штыри с рунными набалдашниками — и делала это так, как отец проверял паяльник перед сложной работой: молча, быстро, без лишних движений.

Подняла глаза, когда я вошёл. Посмотрела. Вернулась к стержням.

— Команда в сборе, — сказал Волконский, не оборачиваясь. — Распределение стандартное. Серов — фронт. Первый контакт, расчистка. Трубецкой — огневая поддержка. Оболенская — защитные контуры. Я координирую.

Оболенская подняла голову.

— Без техник на фронте он мясо.

Волконский обернулся. Лицо спокойное. Голос ровный. Образцовый командир.

— Стандартная позиция для первого ранга. Если Серов хочет отказаться — его право. С пометкой в ведомости.

Дар потянул изнутри. Тонко, точно. Полуправда. Технически первого ранга действительно ставят на фронт. Но «стандартная позиция» подразумевала, что координатор

обязан прикрывать фронтового, если тот не справляется. Волконский об этом умолчал. Не ложь. Но и не вся правда.

Оболенская посмотрела на меня. Коротко, без жалости. Зафиксировала.

Я вспомнил Нимуэ: «Не стой, куда поставят без вопросов.»

— Я на фронте, — сказал я.

Горло молчало. Потому что я действительно собирался идти на фронт. Только не так, как Волконский планировал.

\* \* \*

Разлом выглядел не так, как я ожидал.

Никакой огненной трещины. Никакой чёрной дыры со свечением по краям. Группу привели на учебный полигон за территорией Академии — плоская площадка, каменная ограда, два куратора с планшетами. Скучно. Будний день на работе.

А потом я посмотрел прямо.

Воздух стоял не так. Участок площадки, метров тридцать в диаметре, выглядел почти обычно. Почти. Трава та же. Камни те же. Но тени падали чуть левее, чем нужно. И запах — вернее, его отсутствие. Вокруг пахло утром, камнем, чьим-то потом, травой. Оттуда — ничем. Как если бы кто-то вырезал из мира кусок и вклеил обратно, забыв добавить одно измерение.

«Малый Разлом», — сказал Мерлин. — «Третьего разряда. Рана неглубокая. Но не обольщайся».

Куратор — немолодой мужик с лицом человека, который видел слишком много студентов и слишком мало отпусков — вышел вперёд.

— Задача: войти, достичь центра, установить якорные стержни в трёх точках, активировать закрытие. Двадцать минут. Фронтовой идёт первым. Вопросы?

— Начинайте.

Я шагнул первым.

Перехода не было. Просто с каждым шагом мир менялся. Трава стала суше. Небо побледнело. Воздух загустел — не физически, а как будто пространство имело плотность и она росла.

Тошнота ударила на пятом шаге.

Не та, к которой привык. Меня тошнило от всего сразу. От земли. От воздуха. От того, как свет ложился на камни. Тошнило от устройства. Будто само место жило по неправильным правилам, и мой дар корчился от этой кривизны, не зная, за что зацепиться.

«Ты чувствуешь рану мира», — сказал Мерлин. — «Дыши. Ровно. Через рот».

Я выпрямился. За мной уже входили остальные. Оболенская шла ровно, только побледнела. Трубецкой сглотнул. Волконский шёл последним.

— Двигаемся, — сказал я хрипло.

\* \* \*

Первая аномалия прилетела через минуту.

Сгусток энергии размером с кулак, бесформенный, бесшумный. Возник сбоку и ткнулся мне в плечо. Боль была такая, будто кто-то воткнул раскалённую вилку. Я отшатнулся и сел на задницу.

— Блядь!

«Лево!» — рывкнул Мерлин.

Дёрнулся влево. Второй пролетел мимо уха.

«Ложись!»

Упал. Что-то прошло над спиной.

Сзади заработала Оболенская — в воздухе появилась структура, решётка из линий, которая перенаправляла сгустки в стороны. Она была хороша. Работала молча, точно, будто чинила механизм, а не отбивалась от бешеной энергии.

Трубецкой палил техниками. Попадал через раз, но хотя бы пытался.

Волконский координировал. То есть стоял сзади и иногда говорил «правее».

Мы добрались до центра минут за восемь. Я к тому моменту был грязный, в подпалинах, с горящим боком и коленями, которые познакомились с каждым камнем. Грациозности ноль.

Центр был хуже. Туман висел серой взвесью. Земля дрожала. Сгустки появлялись чаще. Дар орал внутри.

Три кураторских метки светились бледно-голубым. Я вбил первый стержень. Руки тряслись. Второй — бегом. Сгусток чиркнул по спине, куртка задымилась.

— Волконский! Третья точка!

Волна энергии ударила Трубецкого сбоку. Он отлетел. Стержни разлетелись по камням. Оболенская бросилась к нему.

Оставались я и Волконский. Одна точка без стержня. Шестнадцатая минута.

— Третья точка, — повторил я.

Волконский стоял в трёх метрах. Руки по швам.

— Ты на фронте, Серов. Твоя зона.

Ложь. Дар дёрнулся так, что у меня свело рёбра. Координатор обязан закрывать незакрытые позиции. Он знал.

«Не трать силу», — тихо сказал Мерлин. «Сбереги. Пригодится».

Я не понял, о чём он. Но послушал. Не из доверия — из нехватки времени.

Просто побежал.

Подобрал стержень Трубецкого с земли и побежал через самый плотный участок тумана к третьей метке. Пятнадцать метров. Сгусток ударил в бедро — нога подломилась, я чуть не упал, перешёл на хромающий бег. Ещё один — в руку, стержень чуть не выскользнул. Пальцы горели. Перед глазами плыло.

Добежал. Упал на колени. Воткнул стержень в метку. Руны вспыхнули.

— Оболенская!

Она уже была рядом. Три стержня загудели. Разлом начал

закрывать — медленно, неохотно.

— Выходим!

Мы вывалились наружу. Трубецкого тащила Оболенская. Волконский шёл последним. Молча.

\* \* \*

Куратор сверился с планшетом.

— Закрыто. Семнадцать минут. Средний результат. Все живы — выше среднего.

Оболенская дала мне воды. Я пил и молчал. Рядом сидел Трубецкой, баюкал руку. Нормальная тишина после ненормального места.

— Он не двинулся, — сказала Оболенская тихо. — Когда Трубецкого выбило.

Я кивнул.

Она отвернулась. Но запомнила.

Волконский разговаривал с куратором. Лицо ровное, осанка идеальная. Играл. Потом закончил, подошёл к нашей группе и остановился в двух шагах от меня.

— Серов.

Голос у него был спокойный. Слишком спокойный. Как у человека, который уже решил что-то и теперь подбирает правильную упаковку.

— Ты вышел из позиции. Фронтной не закрывает точки. Это нарушение распределения.

Я поднял голову.

— Ты стоял и ждал.

— Я координировал. Моя зона — общая картина, а не ручная работа.

Дар тянуло. Ложь была такая наглая, что меня даже не замутило — слишком привык.

— У Академии есть процедура для разрешения рейтинговых споров, — сказал Волконский, и теперь говорил уже для куратора, который стоял в шести метрах и слушал. — Я считаю, что действия Серова поставили команду под угрозу. Вызываю на рейтинговую дуэль. Стандартный формат.

Куратор поднял голову от планшета. Посмотрел на Волконского, потом на меня.

— Серов, принимаете?

Отказ — минус сорок баллов и запись «уклонение». Для сто двенадцатого места это откат к двумстам.

— Принимаю.

Волконский кивнул. Уголок рта дёрнулся.

«Хорошо», — сказал Мерлин. — «Теперь слушай. На дуэли он будет говорить. Много. Перед публикой не сможет удержаться. Ловить слова — твоя работа. Не каждое. Правильное».

\* \* \*

Дуэльная площадка была тут же, у полигона. Круглый каменный круг метров десять в диаметре, руны по краю, низкий барьер для зрителей. Других команд набежало человек тридцать — после Разлома все были здесь, новости в Академии бегают быстрее зайцев.

Третий ранг против пятого. Для большинства — развлечение на пять минут.

Мы встали по разные стороны круга. Куратор между нами.

— Стандартные правила. До потери сознания или сдачи. Запрещены: смертельные техники, атака вне круга, родовые артефакты. Готовы?

Волконский снял верхний слой формы, остался в тёмной поддёвке. Потянулся. Двигался легко, привычно. Его учили драться с детства.

— Готов, — сказал он. Потом, чуть повернувшись к зрителям: — Я не стану применять родовые техники против первого ранга. Хватит базовых форм.

Дар сжал рёбра.

Ложь. Чистая, яркая, уверенная. Он врал не мне — он врал толпе. Создавал картинку: благородный третий ранг настолько выше нищего вассала, что может позволить себе играть в одну руку. Красивая рамка для красивого избиения.

Он собирался использовать родовые техники. Не сразу. Когда я окажусь упрямее, чем он рассчитывал.

«Сейчас», — тихо сказал Мерлин.

Я нашёл источник. Горячий узел в груди. Знакомый жар. Обернул слова Волконского — «не стану применять родовые техники» — и вдавил. Тяжелее, чем с лавочником, на много порядков. Третий ранг — это другой уровень. Источник обожгло так, что из глаз на секунду пропал свет. Между рёб-

рами натянулось тугое, звенящее.

Нитка легла.

— Готов, — сказал я.

— Начали, — скомандовал куратор.

Волконский двинулся первым. Быстро, точно, без суеты. Удар пошёл с правой — базовая форма, усиленная маной. Я увернулся. Второй — снизу. Не увернулся. Получил в солнечное, согнулся, воздух выбило.

Он был лучше. Во всём. Быстрее, точнее, опытнее. Следующие полминуты я в основном уворачивался и падал. Один раз удалось ткнуть его в предплечье, но он даже не поморщился. Зрители тихо переговаривались. Кто-то хмыкнул.

Мерлин молчал. Не подсказывал. Ждал.

На второй минуте Волконский ускорился. Серия ударов — жёстче, злее. Я пропустил два, упал на колено, встал, пропустил ещё один. Губа лопнула. По подбородку потекло.

— Сдавайся, — сказал Волконский. Не зло даже. Просто констатировал.

— Нет.

Он нахмурился. Привык, что первые ранги ломаются быстрее.

На третьей минуте его терпение кончилось. Я увидел это по глазам — что-то переключилось, как у бойца Волконских на промзоне, который только что бил вежливо и вдруг включился по-настоящему. Корпус пошёл иначе, пальцы собрались в незнакомую фигуру, и по запястью пробежала харак-

терная синева родовой маны. Техника Волконских. Та самая, которую он обещал не использовать.

Нитка дёрнулась.

Его рука ушла вбок — резко, судорожно, будто кто-то перехватил запястье изнутри. Мана мигнула и потухла. Пальцы разжались сами. Волконский споткнулся, потерял линию и на долю секунды повис в воздухе с выражением человека, который нажал на выключатель, а свет не загорелся.

Я ударил. Не красиво, не техникой — просто вложил всё, что было, в кулак и попал ему в скулу. Удачно. Голова у него мотнулась, он отступил на два шага и чуть не вышел из круга.

Толпа затихла.

Волконский выпрямился. Потряс головой. Снова собрал пальцы в фигуру. Снова синева. Снова — дёрнулся и потух. Его собственные мышцы не дали ему нарушить обещание. Мир не дал.

«Ещё раз попробует», — сказал Мерлин. — «Третий раз — последний. Бей».

Волконский попробовал в третий раз. Упрямый. Злой. Отчаянный. Родовая мана вспыхнула на полсекунды — и нитка рванула обратно так, что его потрянуло всего, от плеч до колен. Он потерял равновесие. Шагнул назад. Я подсёк. Он упал.

Несколько секунд лежал, глядя в небо. Потом повернул голову и посмотрел на свои руки. На руках не было ничего. Никакой видимой причины, почему техника не сработала.

Трижды.

— Победа Серова, — сказал куратор.

Тишина длилась ровно столько, сколько нужно, чтобы тридцать человек одновременно решили: что, чёрт возьми, только что произошло?

Волконский встал. Молча. Лицо серое, глаза пустые. Не злость. Что-то хуже — непонимание. Он не знал, что случилось. Знал только, что его тело три раза подряд отказалось слушаться, и что первый ранг его уронил. При свидетелях.

Он ушёл, не сказав ни слова.

«Чисто», — сказал Мерлин. — «Со стороны — перенервничал, техника не пошла. Бывает даже с третьим рангом. Никто не видел магии».

— А он?

«Будет думать, что сбоил от стресса. Люди всегда выбирают стыдное объяснение вместо непонятного».

Зрители расходились. Кто-то смотрел на меня с интересом, кто-то — с подозрением. Оболенская стояла у барьера, руки сложены, лицо спокойное. Когда наши взгляды встретились, она коротко кивнула. Не похвала. Отметка.

Я вышел из круга и сел на ограду. Ноги тряслись. Губа саднила. В груди догорал источник — тупая горячая боль, как после того, как слишком долго держишь гирию.

И тут Мерлин заговорил другим голосом. Тихим. Медленным. Так он говорил, когда видел что-то важное и боялся спугнуть.

«Сиятельство. Когда ты фиксировал нитку... ты почувял?»  
— Что именно?

«Под его ложью. Глубже. Не его личной дрянью — дальше. Старое. Тяжёлое. Как фундамент, в котором трещина».

Я задумался. Во время дуэли всё было слишком быстро, слишком больно. Но на краю ощущений, когда нитка натянулась в третий раз, действительно мелькнуло что-то. Не ложь Волконского. Ложь за Волконским. Что-то огромное и застарелое, как плесень под обоями, которую не видишь, но чувствуешь, что стена гнилая.

— Может быть. Не уверен.

«Сей клановый Обет», — сказал Мерлин, и в его голосе звенело что-то, чего я раньше не слышал. Не радость. Жадность охотника, который увидел след. — «Родовая клятва Волконских. Ветхая. Попранная поколениями. Но живая. Она до сих пор лежит в основе их Якоря, и каждый день, когда они живут не по ней, — трещина становится глубже».

— И что?

Он замолчал. Надолго.

«Ежели потянуть за сей Обет правильно... вскрыть ложь не одного мальчишки, а всего Рода... Нет. Не ныне. Ты слишком слаб. Обет защищён Якорем, а Якорь — мощь всего клана. Но запомни привкус, сиятельство. Запомни, что ты почувял. Сие нам пригодится. Очень пригодится».

Я запомнил. Не понял, но запомнил. Мерлин умел говорить «потом» так, что «потом» звучало как «готовься к вой-

не».

\* \* \*

Я встал с ограды и пошёл к корпусу. Солнце висело высоко, фонтан работал, из окон столовой тянуло жареным. На скамейке у клумбы кто-то рассмеялся. Обычный день.

Обычный двор.

Я остановился.

Фонтан шумел — слышу. Солнце грело — чувствую. Вода была тёплая — помню вкус.

Но двор должен был пахнуть.

Травой. Камнем. Горячей едой. Чьими-то сигаретами у угла. Двор должен был пахнуть десятком вещей одновременно, потому что сентябрьский полдень в большом здании — это всегда каша из запахов.

Ничего.

Я поднял руку. Мазь из лазарета должна была бить в нос ментолом. Поднёс ладонь к лицу.

Ноль.

— Мерлин.

«Цена уплачена, сиятельство».

— За что?

«За гейс на дуэли. Ты вдавил чужое обещание в реальность и заставил мир его исполнить. Трижды. Против третьего ранга. Сие не бесплатно. Никогда не бесплатно».

— Сколько?

«Не ведаю. День, два, может более».

Мама варит борщ вечерами после смены. Запах стоит по всей квартире — густой, мясной, с лавровым листом. Его чувствуешь ещё в подъезде. Отцовская мастерская пахнет канифолью и машинным маслом, и этот запах вьелся в мои куртки, в рюкзак, в школьную сумку. Когда мне было десять, я пришёл из школы и сразу понял, что мама дома, а не на дежурстве, потому что в коридоре пахло её духами и жареной картошкой.

Сейчас, если бы я стоял у их двери, — ничего.

Я постоял ещё секунду. Потом пошёл дальше. В голове оставался привкус того, что Мерлин назвал «клановым Обетом». Старое. Тяжёлое. Гнилое. И Мерлин, который говорил «потом» голосом человека, который уже начал считать ходы.

## Глава 9. Лавка

Утро началось с того, что я не почувствовал, как пахнет зубная паста.

Стою в общей умывалке, щётка во рту, пена на подбородке. Рядом два первокурсника переругиваются из-за полотенца. Из душевой тянет паром и чьим-то гелем — я знаю, потому что вижу конденсат на зеркале. Но нос не чувствует ничего. Пусто. Как если бы мир отключил один канал, и теперь кино идёт без звуковой дорожки — картинка есть, а половины информации нет.

Сплюнул пасту, умылся. Губа припухла после вчерашнего. Под глазом тень. Для человека, который вчера ввязался в дуэль с третьим рангом и каким-то чудом победил, выглядел прилично. Если не считать, что мир стал плоским.

Мерлин молчал с утра. Рабочее молчание — я уже научился различать. Ворчливое значит, скоро заговорит и будет нудеть. Тревожное — увидел что-то плохое. Рабочее — считает ходы. Вчерашний привкус кланового Обета Волконских не давал ему покоя.

В столовой я сел на своё обычное место. Вчера его заняли. Сегодня — нет. Я не стал задумываться почему.

Каша пахла ничем. Компот — ничем. Хлеб — ничем. Я жевал и глотал, как заправляют бак: для функции, не для удовольствия. Каша могла быть овсяной, могла рисовой. Раз-

ницы — ноль.

И ещё: без обоняния тошнота стала другой. Хуже. Раньше дар распределял нагрузку по всем каналам, и тошнота была фоновой — терпимой, как шум за стеной. Теперь всё шло через один. В столовой, где сто пятьдесят человек одновременно говорили мелкие неправды — «нормально спал», «готовился к семинару», «всё хорошо дома» — что-то внутри меня дёргалось на каждую. Не в голове. Глубже. Под рёбрами, в крови. Как будто нечто живое ворочалось в груди, и каждая чужая ложь цепляла его за бок. По отдельности — щекотка. Вместе — мелкая непрекращающаяся тряска, от которой подкатывало к горлу.

Я просидел пять минут и вышел. В коридоре стало чуть легче — людей меньше, и нечто в груди перестало трястись. Просто ворочалось. Беспокойно, зло, не находя положения.

«Утихнет», — сказал Мерлин вдруг. «Обоняние вернётся. Не ведаю когда, но вернётся».

— Откуда такая уверенность?

«Мир берёт плату, а не калечит. Разница».

Обнадёживающе. В масштабах вечности.

Зато Академия отреагировала на вчерашнюю дуэль быстрее, чем я ожидал.

Я ожидал шёпот. Получил тишину. Оценивающую. Вчера первый ранг уронил третий на дуэли, и теперь три сотни человек тихо решали, что с этой информацией делать. Первые ранги не побеждают третьих. Так не бывает. Ну, бывает —

если третий перенервничал и трижды подряд не смог запустить родовую технику. Бывает. Если очень стараться поверить.

В коридоре мне дважды кивнули незнакомые люди. Парень с четвёртого ранга, худой, с залысинами, которые в шестнадцать лет выглядели как личное оскорбление от генетики. Девушка из свиты Оболенских. Кивки вежливые, осторожные. Не «давай дружить», а «я тебя заметил».

Волконский не появился. Ни на первой лекции, ни на второй. Может, отлёживался. Может, звонил отцу. Трубецкой был — сидел подальше, баюкал перевязанную руку и старательно делал вид, что его тут нет.

Оболенская прошла мимо в коридоре. Замедлила шаг.

— Как губа?

— Жить буду.

— Хорошо.

И пошла дальше. Три слова. Но Оболенская не тратила слова на вежливость. Каждое — по делу, и если спросила — значит, ей было не всё равно. Дар давал чистый сигнал: не врёт. И от трёх слов стало легче, чем от целого дня без запахов.

На лекции по боевой теории преподаватель посмотрел на мою фамилию в журнале, потом на мою губу:

— Серов, вы с нами?

— Вроде.

— Постарайтесь, чтобы это стало более определённым.

Зал тихо хмыкнул. Я открыл тетрадь и начал записывать. Нормальный урок. Нормальный день. Если забыть, что мир плоский, в голове сидит древний стратег, а в груди ворочается что-то, чему я не знаю названия.

К обеду обоняние не вернулось. Я проверял каждый час. Рукав к носу — ничего. Мазь из лазарета — ничего. Собственная ладонь — ничего. Стабильный, терпеливый ноль. После обеда я заглянул в медицинское крыло.

Медсестра — та самая, из лазарета — проверила каналы, посветила чем-то в нос и пожала плечами.

— Физически всё в норме. Слизистая не повреждена, каналы чистые, нервные окончания реагируют.

— Но я ничего не чувствую.

— Бывает после перегрузки источника. У третьих рангов такое проходит за сутки.

— А у первых?

— У первых обычно нечему перегружаться. Статистики нет. Придёте через два дня, если не придёт.

Я вышел из медкрыла с тем же ничем, с которым зашёл. Мерлин молчал. Мы оба знали, что медицина тут ни при чём.

Артефактную лавку у восточных ворот я нашёл случайно.

Не совсем случайно. После медкрыла я не хотел возвращаться в общежитие. Внутри здания тошнота усиливалась — каждый коридор, каждая группа студентов будила нечто в груди. Зуд под кожей, жар в крови, и сердце начинало колотиться от чужих мелких вранья так, будто я бежал, а не

стоял на месте. Хотелось на воздух. Хотелось туда, где людей меньше и нечто внутри перестанет дёргаться.

Я свернул к восточному крылу, вышел за ворота. На улице стало легче — людей меньше, и ворочание в груди стихло до глухого гула. Шёл вдоль стены, не глядя по сторонам, и почти проскочил вывеску.

Маленькая, деревянная, выгоревшая на солнце. Буквы почти стёрлись: «Починка и консультации. Вход свободный.» Без названия. Без фамилии владельца. Просто дверь в стене, чуть ниже уровня земли, три ступеньки вниз. Дверь приоткрыта.

Я спустился. Не из любопытства — из безразличия. Мне было всё равно, куда идти. Лишь бы подальше от трёхсот человек, на каждого из которых нечто в груди реагировало как на личное оскорбление.

Внутри было тесно. Тепло. И набито вещами так плотно, что казалось — вытащи одну шкатулку, и остальные осыплются лавиной. Стеллажи от пола до потолка: кристаллы в деревянных лотках, часы с рунами на циферблатах, свёртки в промасленной бумаге, стеклянные колбы, коробки с латунными застёжками. На стенах — схемы и старые гравюры, приколотые кнопками поверх друг друга. За прилавком горела лампа с зеленоватым стеклом, и свет от неё ложился на всё мягкий, подводный.

Лавка должна была пахнуть. Я видел источники: масло на полке, сухие травы под потолком, латунная стружка в банке

у верстака, горелка с припоем. Глазами — густо, на десять слоёв. Носом — пустота.

— Проходи, — сказал голос из-за стеллажа.

Мягкий. Низкий для девушки. С ленивой теплотой, от которой хотелось расслабиться и одновременно оглянуться на дверь. Голос человека, который не торопится и не собирается.

Из-за стеллажа вышла девушка.

Невысокая. Тёмные волосы с тёплым медным отливом, чуть ниже плеч. Высокие скулы, тёмные миндалевидные глаза — лицо азиатское, но из тех, которые не получается отнести к конкретной стране. Возраст не читался: на первый взгляд двадцать, но что-то в глазах было старше. Не морщины. Расстояние. Будто она смотрит на тебя из точки дальше, чем кажется.

Она улыбалась. Широко, открыто, настоящей улыбкой, от которой лицо молодело и одновременно становилось хитрее. Чёрная водолазка с закатанными рукавами, узкие джинсы, босые ноги на каменном полу. Мелкие царапины на руках, пятно — чернильное или масляное — на запястье. Руки маленькие, но пальцы крепкие, с короткими ногтями.

И вот тут случилось странное.

Дар не замолчал. Не заболел. Не сжался. Он расслоился.

Я стоял в двух метрах от неё и чувствовал, как привычное чутьё мечется. Не так, как с обычными людьми, когда информация чёткая: правда, ложь, полуправда. Не так, как

с Нимуэ, когда наступала тишина. Здесь информация была. Много. Но она не складывалась. Каждое ощущение делилось на три, и все три были правдой, и все три не совпадали. Будто я пытался сфокусировать взгляд на предмете, который существует в трёх местах одновременно.

У меня закружилась голова. Серьёзно — колени ослабли, и я вцепился в край стеллажа.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.